

К. ПАУСТОВСКИЙ

КНИГА СКИТАНИЙ

К. ПАУСТОВСКИЙ

КНИГА

СКИТАНИЙ

К . П А У С Т О В С К И Й



**КНИГА
СКИТАНИЙ**

**ИЗДАТЕЛЬСТВО „СВЕТСКАЯ РОССИЯ“
М О С К В А - 1 9 6 4**

Повесть Константина Паустовского «Книга скитаний» — новое, шестое звено многотомного автобиографического цикла «Повесть о жизни», предыдущие части которого широко известны читателям. Она непосредственно связана с пятой книгой этого цикла «Бросок на юг».

Содержание этой повести составляют впечатления, сцены, эпизоды, встречи, характеристики друзей и недругов, зарисовки природы и быта, — из всего этого складывается своеобразный облик времени, увиденный автором в те годы.

*Воспоминание слишком давит плечи,
Я о земном заплачу и в раю...*

Марина Цветаева

ПОСЛЕДНЯЯ ВСТРЕЧА

Я очень долго добирался от Тифлиса до Киева.

В Киев поезд пришел к вечеру. Был широкий разгар весны, цвели каштаны, на куполах Владимирского собора горел горячий блеск заката, нарядно шумел Крещатик. И тем беднее и опустошеннее показалась мне комнатка, где жили мама и сестра Галя.

Прошло больше двух лет с тех пор, как я уехал из Киева в Одессу, а потом в Тифлис. За это время мама и Галя постарели, но стали спокойнее.

При каждой возможности я посылал маме деньги и все время мучился, что денег мало и доходят они с перерывами. Но мама не жаловалась. Я убедился, что характер у нее действительно был стоический.

— Костик, — сказала она после первых слез и первых беспорядочных расспросов, — мы с Галей нашли прекрасный способ жить без больших затрат и огорчений.

— Какой же это способ?

— Посмотри на комнату — и ты поймешь.

Я осмотрел комнату. Стены ее были желтые, как в больнице, обстановка нищенская — две жидкие железные кровати, старый шкаф, кухонный стол, три расшатанных стула и висячее зеркало. Все это было

покрыто серым налетом, будто от пыли. Но никакой пыли не было. Серый цвет вещам придавала старость и беспрерывное вытирание их тряпками.

— Знаешь,— сказала Галя и болезненно улыбнулась в сторону окна, откуда падал солнечный свет.— Знаешь, мы даже сделали с мамой ремонт.

Я еще не успел спросить маму наедине, как у Гали со зрением, но понял, следя за ней, что она уже настоящая слепая, совсем слепая. Мама показала мне глазами на Галю, торопливо вытащила из рукава старой вязаной кофточки маленький платок и прижала к глазам.

— Мама,— спросила испуганно Галя.— Ты что? Плачешь?

— От радости,— ответила мама срывающимся голосом.— Костик приехал, и мы опять все вместе. Мы с тобой опять не одни.

— Костик приехал,— медленно повторила Галя.— Приехал! Мой брат,— неуверенно добавила она, как будто представляя меня кому-то.— Да, мой брат!

Она помолчала.

— Костик, ты знаешь, мы долго спорили с мамой, в какой цвет выкрасить стены. И покрасили в оранжевый. Правда, красиво?

— Очень красиво,— ответил я, глядя на стены, покрытые дешевой желтой краской.— Очень.

— Мама говорит, что даже в пасмурный день к нам в комнату как будто светит солнце. Правда?

— Правда,— ответил я.— Очень яркий и радостный цвет у этих стен. Где вы только нашли такую хорошую краску?

— Я уже ничего не вижу,— сказала Галя и опять

улыбнулась не мне, а куда-то в сторону, — но я чувствую, как от стен просто тянет теплом.

Она медленно пошла ко мне, придерживаясь за грубый кухонный стол. Я поднялся ей навстречу. Она дотронулась до моих пальцев, провела кистью по моей руке к плечу и коснулась щеки.

— Ой, какой ты небритый! — сказала она и засмеялась. — Я наколола пальцы. Я уже не делаю цветов из материи. Не вижу. Теперь наша соседка-вязальщица дает мне сматывать гарусные нитки в большие клубки. Она мне платит по два рубля за каждый клубок.

— Когда Галя наматывает гарус, — сказала мама, — я ей читаю. Теперь ты понял, Костик, как мы живем?

— Да, я понял, — ответил я, стараясь не выдать своего волнения. — Я все понял.

— Мы, — сказала мама, — продали все лишнее, все ненужные вещи.

— На Житном базаре, — добавила Галя. — Зачем нам, например, самовар. Или старые бархатные альбомы с фамильными фотографиями. У нас их было четыре. Они лежали много лет на хранении у пани Козловской.

Пани Козловская была ветхая и тихая старушка — давнишняя приятельница мамы.

— Все карточки я оставила, — заметила, как бы оправдываясь, мама.

— Маме повезло. Она и не думала, что кто-нибудь купит теперь эти альбомы.

— И кто купил, представь себе, — вмешалась мама. Она оживилась и даже засмеялась. — Какой-то

монах из Братского монастыря. Он взял все четыре альбома. Ему они были нужны. Вот догадайся, Костик, зачем?

Я догадаться, конечно, не мог.

— Бархатные переплеты очень тяжелые,— объяснила мама.— Из них получились хорошие, прямо роскошные покрышки для библии. Монах их распродал по сельским церквям, а мы избавились от хлама. Так спокойнее жить. Я всю жизнь говорила, что вещи берут у нас все силы и мучают нас. Они заставляют нас работать на себя, как поденщиц. В общем,— сказала мама, как будто прекращая затянувшийся спор,— так легче жить. Мы свели свои потребности к самому малому.

Мама сказала это с легким оттенком гордости.

— А что со старухой? — спросил я Галю.— Той, что покупала у тебя цветы для Байкова кладбища?

— Умерла эта старуха. Я сделала на ее могилу венок из одних только ромашек.

— Замечательный венок,— вздохнула мама.— Последний. Я сейчас разогрею обед, а потом ты нам все расскажешь про себя. Хорошо? Посидите пока в комнате у Амалии. Или на балконе, на воздухе.

Я взял Галю под руку и повел ее через комнату Амалии на балкон. Амалии не было дома. Галя шла по полу, как будто переходила мелкую реку, шагнувшая ногой дно.

Мы сели с ней на балконе. Он выходил в сторону Ботанического сада. Изредка по Бибииковскому бульвару проползал, повизгивая, трамвай. На площади Владимирского собора меж больших булыжников уже выросла высокая трава.

Приближался вечер. Закатный свет, отраженный множеством оконных стекол, наполнял улицу.

— Костик,— спросила Галя,— ты, правда, напечатал несколько своих рассказов?

— Откуда ты знаешь?

— К нам как-то зашла Гильда, сестра Эммы Шмуклера. Ты ее помнишь?

— Как же! Такая длинная, нескладная.

— Ну, сейчас, она, говорят, красавица. Не узнаешь. Так вот она и рассказала об этом. Что же ты нам их не прислал?

— Я привез их с собой.

— Так слушай,— таинственно сказала Галя,— ты положи их на мамину постель, на подушку, а сам ничего ей не говори. Ты знаешь, теперь это ее единственная мечта, чтобы ты стал настоящим писателем. Недавно мама сказала про тебя, что если ты сделаешь хоть немного хорошего для людей, то этим искупишь — так она и сказала «искупишь» — все ошибки отца. Скажи, пожалуйста,— то, что ты пишешь, может помочь людям, чтобы они меньше страдали? Как ты думаешь?

Хлопнула парадная дверь.

— Спрячься,— быстро сказала Галя.— Это Амалия. Вот она удивится!

Я спрятался за кадку с большим олеандром. Амалия вошла, остановилась перед трюмо, подняла руки и устало поправила свои все еще красивые волосы.

— Я сижу у вас,— сказала Галя,— потому что мама жарит котлеты. И у нас чад.

Амалия усмехнулась и спросила:

— А где же он?

— Кто? — испуганно спросила Галя.

— Где он? — повторила Амалия. — Костик. В передней висит его плащ.

Тут она увидела меня, схватила за руку, вытащила на середину комнаты, обняла за шею и поцеловала несколько раз крепко и звонко, как целуют крестьянки.

Я сделал так, как мне посоветовала Галя, — положил вечером на мамину подушку три моих рассказа, вырезанных из газет, где они были напечатаны. Мама в это время возилась на кухне.

Я, конечно, струсил и тайком ушел в город. Бродя по улицам, я все время гадал, — прочла ли мама рассказы или еще нет. Наконец я не выдержал и вернулся домой.

Дверь открыла мне мама. Она взяла в ладони мою голову и крепко поцеловала в лоб. Глаза у нее были заплаканы.

— Если бы ты знал, — сказала она, — какие вещи я сейчас прочитала! Спасибо тебе, Костик. От всех нас, — и от отца, и от братьев, и от нашей несчастной Гали.

Мама не могла говорить. Она села на табурет в передней.

— Дай мне воды, — попросила она.

Я принес из кухни кружку воды и дал ей напиться.

— И это мой сын, — сказала она почти шепотом и погладила мои руки. — Мой Костик!

— Ну что ты, мама! — сказал я, пытаюсь ее успокоить. — Я останусь здесь, с вами.

— Не надо! — твердо ответила мама. — Иди своей дорогой. Только смотри, — не забывай нас.

Внезапно она сжалась в комок и зарыдала. Я обнял ее и прижал к себе.

— Если бы был жив отец, — сказала она, глотая слезы. — Если бы он был жив! Как бы он был счастлив. Он был чудный человек, Костик. Самый чудный человек на свете. Я ему все простила. И ты его прости. У тебя была тяжелая молодость. Теперь мне и умереть не страшно. Но обещаю, что, если я умру, ты возьмешь к себе Гаю.

Я обещал ей это, но все случилось совсем не так, как ожидала мама. Она не увидела даже моей первой книги. Жизнь распорядилась с ней и с Галей круто и несправедливо.

Как-то летом я уехал в Поти, в Колхиду, готовился писать книгу о субтропиках. В Поти я заболел каким-то «синим» сыпным тифом, долго лежал в больнице, долго боролся со смертью, а в это время мама умерла в Киеве от воспаления легких. Через неделю умерла Галя. Без мамы она не могла прожить даже нескольких дней. Отчего она умерла, никто не знал, и выяснить это не удалось.

Амалия похоронила маму и Гаю рядом на Байковом кладбище в страшной тесноте сухих заброшенных могил.

С трудом я нашел их могилы, заросшие желтой крапивой, — две могилы, слившиеся в один холм, с покоробленной жестяной дощечкой и надписью

на ней: «Мария Григорьевна и Галина Георгиевна Паустовские. Да покоятся с миром!»

Я не сразу разобрал эту надпись, смытую дождями. Из трещины в дощечке тянулся бледный, почти прозрачный стебелек травы. И странно и горько было думать, что это — все! Что этот стебелек — единственное украшение их тяжелой жизни, что он — как болезненная улыбка Гали, как маленькая слеза из слепых ее глаз, застрявшая на ресницах, — такая маленькая, что никто и никогда ее не увидит.

Я остался один. Все умерли. Мать, давшая мне жизнь — не напрасную и не случайную, — лежала здесь, под глинистой киевской землей, в углу кладбища, рядом с полотном железной дороги. Сидя у могилы, я чувствовал, как содрогалась земля, когда проносились тяжелые поезда. Должно быть, и там, в могиле, мама тревожилась обо мне, как тревожилась в жизни. Она часто смотрела мне в глаза и спрашивала:

— Ты ничего от меня не скрываешь, Костик? Смотри, не скрывай. Ты же знаешь, что я готова пойти на край света, чтобы тебе помочь.

ПОЛЕВАЯ ТИШИНА

Тогда, в августе 1923 года я вернулся из Киева в Москву.

Денег у меня оставалось на месяц полуголодной жизни. Надо было искать работу в московских газетах. Но вместо этого я, измученный недавней закавказской жарой, мечтал о сырых рощах и прохладных реках Средней России, мечтал непременно съездить,

хотя бы ненадолго, в какую-нибудь деревенскую глушь. Кроме того, я хотел, начиная новую полосу жизни, попрощаться — и теперь уже навсегда — со старой деревней. Я знал ее воочию, а не только по рассказам Чехова и Бунина.

Прощаться мне помог случай. В Москве я на время поселился в Гранатном переулке у прежней своей хозяйки, в комнате жильца, уехавшего в командировку.

В квартире все еще жила моя соседка по семнадцатому году — веснушчатая курсистка Липочка. Она никак не могла окончить медицинский институт.

К Липочке, как и пять лет назад, приезжали из рязанской деревни земляки, привозили мед и яблоки, а увозили все, что бог дал раздобыть в Москве, — даже паклю и пачки старых газет на раскурку.

Отец Липочки был сельским священником под Рязанью. Это обстоятельство Липочка тщательно скрывала, но я случайно узнал об этом еще в семнадцатом году. При мне Липочка насмешливо называла отца «мой попик».

К нему, по совету Липочки, я и поехал пожить две-три недели.

Ока разделяет Рязанскую область на две обособленные части: северную — лесистую и болотистую и южную — полевую и овражную. Село Екимовка, где жил отец Липочки, лежало в южной части, среди бесконечных полей.

Я был огорчен, что еду в безлесные места. Но как только я вышел из теплушки на полустанке Стенькино за Рязанью, то тут же забыл о своем огорчении.

В лицо мне подуло теплым воздухом ржи. Поле-

вая тишина, не задетая ни единым звуком, кроме отдаленного гудка уходящего поезда, подошла вплотную.

Я немного постоял под старыми вязами на платформе и услышал давно позабытый запах дегтя от тележных колес. К одному из вязов была привязана телега. Серый мерин дремал, подрагивая сухой кожей.

Телегу выслал за мной отец Липочки. Возница — мальчишка лет двенадцати, по имени Влас — конопатый и хмурый, — всю дорогу старательно хлестал мерина по впалым бокам. На мои вопросы Влас отвечал только одно: «Откуль я знаю».

Мы долго ехали молча. Потом Влас собрался, наконец, с духом и сказал:

— Батюшка наш, отец Петр, вдовый. Старенький и глуховатый. А мерина этого ему ссудил председатель. Из комитета бедноты.

Вскоре над шелестящим морем ржи возникли белая колокольня и зеленый купол церкви. Крест на куполе покосился и был готов вот-вот свалиться. На нем сидели, толкаясь и склочничая, воробы.

Дом отца Петра стоял за селом, вблизи церкви. Он так зарос бузиной и одичалой сиренью, что виднелось только крылечко.

Отец Петр вышел в старом чесучевом подряснике. Низенький, с тощими косицами седых волос на затылке, он заглядывал мне в лицо водянистыми глазами и говорил, шепелявя:

— Спасибо, не побрезговали навеетить старика. Житьишко у нас скудное. Но, как говорится, «буду

есть мякину, а Екимовки не кину». Отдыхайте. Воздух у нас богатый.

И я поселился в доме, где весь день колошился глуховатый старик.

— Уж и не знаю,— говорил он тоном заговорщика,— почему не тронули меня, раба божьего? Или снизили к престарелости моей? Или оттого, что приход этот — нищенский, бездоходный? Самый никудышный приход в Рязанской епархии. Только садом да картохой я и живу. Яблони — все перестарки. Плод имеют махонький, червивый. И цена этим яблочкам — две копейки за меру. Липочка, вот, помогает, а то давно бы меня сволокли на погост.

В доме было сумрачно, прохладно. Дряхлая чистота поселилась здесь, видимо, давно. Некрашенные выскобленные полы казались седыми.

Пахло лампадным маслом. За кюветы были заткнуты пучки сухого зверобоя. Книг не было, кроме Часослова и зачитанного романа Засодимского «Хроника села Смурина». Чернила в баночке заросли белой плесенью.

Главным обитателем дома, как и окрестных полей, была оцепенелая тишина. Изредка ее нарушало уверенное гудение шмеля. Он облетал комнаты, как владелец. Насердившись и наворчавшись, он с облегчением вылетал в распахнутое окно, в зной и лазурь уснувших полей.

Шмель улетал, и снова возвращалось безмолвие. Отец Петр тихонько прокашливался и запевал дрожащим тенорком: «Объяли мя муки смертные, и потоки беззакония устрашили мя», но тотчас спохватывался и замолкал, боясь меня обеспокоить. И снова

тишина. Только ветер иногда прошумит по саду и подымет на окошках ситцевые занавески.

Я отдыхал в этой скудной обители. Мысли подолгу задерживались на всем, что происходило вокруг. Я испытывал непрерывную радость от близости к земле, к России. Тогда я полностью почувствовал, что она действительно моя. Великие судьбы и потрясения ждали ее. Это было ясно всем, даже недалекому отцу Петру. Я же твердо знал, что прелесть ее полей, ее далей, ее небес всегда останется удивительной и неизменной.

Около дома раскинулся сад, разросшийся по своему усмотрению и потому особенно живописный. Огромные лопухи, похожие на слоновьи уши, росли рядом с крапивой в человеческий рост.

Днем сад вяло опускал листья. Август стоял жаркий. Я радовался самой малой тени от облаков, величаво пронесивших в вышине свои белоснежные громады. Но все же жара была мягкая, совсем не такая изнурительная и зловещая, как в Закавказье.

Зато каким роскошным, тенистым, зачарованным и полным дыхания бурьяна становился сад к вечеру! Какие свежие воздушные волны заполняли его к ночи и оставались в нем до утра!

Туманно светил в конце сада закат. Протяжно пел, замирая за речкой Павловкой, пастуший рожок.

Отец Петр зажигал в зальце кухонную лампочку, и день сменялся успокоительной ночью.

Пожалуй, лучше всего в Екимовке были вечера — как бы нарочно созданные, чтобы показать певучесть женских и детских голосов, скликавших телят и гусей,

Каждый вечер соседская девушка Луша пригоняла на двор к отцу Петру бычка с влажными каштановыми глазами. Луша шепотом здоровалась и, боясь расспросов, убегала. Но все же я каждый раз замечал ее вспыхнувшее тяжелым румянцем лицо. Замечал мгновенный, как зарница, любопытный взгляд из-под пыльных ресниц.

Когда Луша убегала, отец Петр говорил:

— Крестница моя. Возросла в этой пустыне, как Марья-царевна.

Однажды к отцу Петру, очевидно, узнав о моем появлении, приехал лукавый отец благочинный.

Он был оранжево-рыжий, носатый, говорил сильным фальцетом, и ряса у него была разодрана на животе и заду.

Он тут же сообщил, что устроил лаз в заборе своего сада, дабы внезапно прокрадываться с тылу и ловить мальчишек — «яблококрадов». Но лаз оказался узковат, и, торопясь пролезать в него, отец благочинный изодрал одеяние.

Отец Петр при виде благочинного онемел. Он только беспрерывно кивал, соглашаясь со всем, что говорил благочинный. А тот объяснял, что нужна большая политичность, чтобы оградить пастырей от всяческих бед и находиться в хорошем расположении с властями.

Потом отец Петр сходил куда-то неподалеку и принес бутылку мутного самогона. Он воюял керосином и гнилым хреном. Но отец благочинный выпил под вареную картошку два граненых стакана этой

жидкости, тотчас захмелел и начал нести околесицу.

— После господа нашего Иисуса Христа и блаженных святителей церкви,— заговорил он, рыгая,— нуще всего уважаю большевиков. Люблю решительных мужчин. Поскольку сам прославлен на всю спархию отвагой. У меня разговор простой. Согрешит чего-нибудь вот такой поник гуннивый, я его — хватать за загривок и так единожды тряхану, что мозги у него разболтаются в окарощку. Тогда тряхану вторично — и мозги станут на место! Других мер не применяю. Из сострадания.

Отец Петр пожегся. Косицы его тряслись на затылке.

— Вот, скажем, сей глуховатый перей отец Петр! Что с него взять? Соленый огурец да облезлую камиллаву?

Отец Петр хихикнул.

— Я безгрешен,— сказал он с опаской.— Мне наемдн восьмой десяток пошел.

— Грехов на тебе, понятно, нету по дряхлости тела и убогости разума.

— Напрасно вы так говорите,— заметил я благочинному.— Отец Петр — добрый человек. Зачем его обижать.

— А он не обижается,— благочинный повернулся к отцу Петру.— Вот видите, кивает. Смирение пастырское предписывает ему спосить безропотно и глад и поношение. А вы, молодой человек, за пастырей заступались бы не здесь, в Екимовке, а там, в Москве, в Кремлевских палатах, где новые кесари пекутся о благе народа. Все хорошо у большевиков, все одобряю, кроме запрета держать лошадей и

устроить конские ярмарки. Я на коней был первый мастак от Рязани до Липецка. Ни одной ярмарки без меня не обошлось. Как взойду на ярмарку, так всех цыган-барышников будто корова слизнула. Крепко я им холки накручивал! А вы говорите, — большевики!

Отец благочинный внезапно замолк, опустил голову на грудь и страшно захрапел. Так прошло несколько минут.

— Срам! — сказал мне шепотом отец Петр. — Заметут его большевики! Ой, заметут!

— Не заметут! — неожиданно и совершенно спокойно ответил отец благочинный, открыл глаза и оглушительно чихнул. — Не радуйся, отче Петр! — Он чихнул второй раз. — Как бы тебя самого не замели из Екимовки.

Благочинный чихнул в третий раз, потом — в четвертый и вскоре зальца начала дребезжать и позванивать от его богатырского чиха.

Наконец благочинный отчихался, вытащил из кармана обширный красный платок, обстоятельно вытер лицо и сказал ясным голосом:

— У меня хмель выходит чихом. В каком бы опьянении я ни находился, а на двадцатом чихе я тверезый. Как стеклышко! Такая особенность!

Он встал, попрунцался и напоследок сказал отцу Петру:

— Сиди! Никто тебя не тронет. Ни светская власть, ни церковная. Христос, истинный бог наш и пречистая его мать услышат твои вопли и занывания, отче Петр.

Благочинный уехал, а отец Петр взял большие

ключи от церкви и пошел служить молебен, очевидно, по случаю избавления от благочинного.

Я пошел вслед за ним посмотреть церковь. Я в ней еще не был. Она делилась на зимнюю и летнюю. Зимняя была внизу. В сильные морозы ее протапливали. Летняя помещалась вверху, на втором этаже. Она была светлая, залитая сейчас солнцем. В его лучах розовела водянистая церковная роспись.

Отец Петр надел епитрахиль и начал служить. По глухоте своей, он себя не слышал и потому то выкрикивал молитвы во весь голос, то бормотал их едва слышно, почти засыпая.

Я распахнул разошедшееся запыленное окно, сел на подоконник — и передо мной как бы промыли небо яркой водой. Облака тесно толпились от одного до другого края земли. Они плыли по выпуклому поднебесью, подергиваясь сизой тенью.

Отец Петр служил долго. Облака за это время начали громоздиться башнями, подножия их стали темнеть. Потом бледная вспышка огня озарила их до самой глубины. Над полями пролетел, наклонив к земле рожь, короткий ветер.

Но гроза не пришла. Должно быть, август уже потерял грозовую силу. Гроза уже не могла раскапываться по полям, неся столбы пыли, зловеще блистая, припечатывая дороги крупными вескими каплями.

На панерти отца Петра ждал костистый крестьянин Никифор — отец Луши.

— За Лушу сватается жених самостоятельный, — сказал он, не глядя на отца Петра. — Благословите сыграть свадьбу, батюшка.

— А кто таков? — спросил отец Петр. Он устал, и руки у него, когда он снимал епитрахиль, сильно тряслись.

— Портной из Сторожилова.

— Молод?

— Да так... годов пятьдесят, не боле.

— Человек-то хороший?

— А шут его знает. Обыкновенный. Закладывает маленько. А вот лицом вроде не вышел. Рябой. Да не квас же Лукерье пить с его ряжки. Правда, вдовец. Двое ребят на шее.

— Полюбовно выходит?

— Да, господи! — вскричал Никифор. — Мне-то, сам понимаешь, жалко ее портить. Одно соображение, — при заработке он. Государственный портной. Моя старуха прямо Лукерью зубами грызет: выходи да выходи. Она у меня знаешь какая, старуха. Зрак у нее завидный на все.

— Да уж знаю, — вяло согласился отец Петр. — Дело ваше, родительское.

Мы спустились с паперти. Отец Петр брел, опираясь на посошок.

Снова вдали в темном облаке мигнул бледный свет.

— Как вы думаете, — спросил я отца Петра, — Луша любит его или нет?

— Какое там — любит! — с сердцем ответил отец Петр. — Да все равно, пора выходить. Дело крестьянское.

Отец Петр помолчал и заговорил, что скоро начнут убирать хлеб. Из Рязани, сказывают, придут новые советские косилки. Они весь клин до самого

Стенькина уберут, сказывают, за один день. Какие только чудеса дает бог увидеть на свете!

В Екимовке работали почти одни женщины. Мужчины уходили на заработки в соседние города, — Михайлов, Рязань, Пронск, Коломну, в самую Москву. Они приезжали в Екимовку только в пору горячих полевых работ. Кое-кто привозил семьям гостинцы. После побывки мужей женщины ходили в новых баретках, а ребята с утра до вечера дудели в свистульки и верещали трещотками.

Работа для женщин была непосильной. После революции наделы выросли, помещичьи и монастырские земли отошли к крестьянам, и управиться со всей этой землей было трудно. Машин в то время почти не водилось. Хлеб и сено убирали вручную.

Всей сельской жизнью управлял комитет бедноты. Ему беспрекословно подчинялись. Но все же полагалось ругаться с председателем комитета, бывшим солдатом по прозвищу «Один момент». Для него не существовало трудностей, и любое дело он решал быстро, приговаривая: «Это мы — мигом! Один момент!»

Прощание мое с деревней затянулось. Я медлил возвращаться в Москву, боясь неизвестности.

Но все же надо было в конце концов уезжать.

До Рязани ехала со мной Луша, — мать послала ее в город купить марли на подвенечную фату.

До полустанка Стенькино мы шли с Лушей полями и всю дорогу молчали. Поверх линялого ситцевого сарафана Луша надела тесную черную жакет-

ку, русые косы подвязала белой косынкой и шла, почти не подымая глаз от смущения.

По небу однообразно тянулись синеватые холодные тучи. Луша задевала подолом подсохшие по осени травы. Только цикорий и дикая рябинка — желтая, как горчица — еще не увядали и безмятежно и ярко дожидались ненастья.

Я старался запомнить все: каждый сжатый колос, блестящий слюдой на стерне, каждый короткий взгляд Луши — вопросительный и несмелый. Мне казалось, что она хочет спросить меня о чем-то, но не решается. И я, признаться, был рад, что она ни о чем меня не спрашивает.

О чем она могла спросить? Выходить ли ей замуж? Я бы начал ее отговаривать и наговорил бы, наверное, много такого, чего бы она не поняла. А если бы и поняла, то испугалась.

В этой простой девушке с шершавыми маленькими руками, в ее стремительной улыбке, в наклоне ее лица — покорном и нежном — было столько неясного обещания любви для кого-то еще неизвестного, но совсем не для того, за кого ее выдавали, что идти с ней рядом было и грустно и радостно. Всю дорогу мне почему-то хотелось заботиться о Луше, прикрывать ее от резкого ветра, дувшего в спину. Чем дальше мы шли, тем она все чаще поправляла под косынкой светлый локон.

В теплушке мы сели на дощатые нары. Знакомые поля нехотя поползли мимо. Вагоны погромыхивали на стыках. Мальчишка в новом картузе пронзительно свистел на губной гармонике.

Я занозил ладонь о неструганую доску нар. Луша

испугалась. Она осторожно вытащила занозу и совершенно по-детски зализала ранку языком.

Расстались мы в Рязани на товарной станции. Все пути были засыпаны шелухой от подсолнухов. Ходили, матерясь, маслянистые кочегары. В липах у переезда орали галки.

Я пожал ее маленькую твердую руку, и Луша ушла, не оглянувшись. Но уходя, она все время, как и в полях, нервно поправляла косынку на растрепавшихся косах.

Я хотел окликнуть ее, но не окликнул. Потом я долго ждал поезда на Москву и курил дешевые пересохшие папиросы.

Много лет спустя я еще раз увидел Лушу,— ее лицо и всю ее, похожую на стройную ветку. Это было страшно далеко от Рязани, в Северной Италии, в цветущей долине Аосты, замкнутой снеговыми вершинами Альп.

Луша стояла на высоком каменном постаменте у перекрестка дорог, чуть склонившись и глядя с улыбкой на цветы, что положил кто-то к ее ногам.

Неизвестный скульптор, вырезавший эту мадонну из дерева, чуть прокрасил алой краской ее щеки. У мадонны был тот же застенчивый румянец, какой я часто видел у Луши.

Ветер с гор дул ей в глаза, колыхал платье. У нее не было на руках младенца. Она была еще непорочна. И эта прелесть непорочности делала итальянскую мадонну подругой крестьянской девушки Луши из села Екимовка Рязанской области.

После возвращения из Екимовки я долго бродил по разным московским редакциям в поисках работы.

Однажды я встретил в редакции «Гудка» Виктора Шкловского. Он остановился передо мной и сердито сказал:

— Если хотите писать, то привяжите себя ремнями к письменному столу. Старших надо слушаться!

— У меня нет письменного стола.

— Тогда к кухонному! — крикнул он и исчез в соседней комнате.

Слова о ремнях Шкловский сказал просто так, наугад. Мы с ним не были еще знакомы.

В комнате, где исчез Шкловский, сидели за длинными редакционными столами самые веселые и едкие люди в тогдашней Москве — сотрудники «Гудка» Ильф, Олеша, Михаил Булгаков и Гехт. Склонившись над столами и посмеиваясь, они быстро писали на узких полосках газетной бумаги.

Редакционная эта комната называлась странно: «Четвертая полоса». В простенке висела ядовитая стенная газета «Вопли и сопли».

В этой комнате готовили последнюю, четвертую полосу (страницу) газеты «Гудок». На этой полосе печатались письма читателей, но в таком виде, что ни один читатель, конечно, не узнал бы своего письма.

Сотрудники «Четвертой полосы» делали из каждого письма короткий и талантливый рассказ, — то

насмешливый, то невероятно смешной, то гневный, а в редких случаях даже трогательный. Неподготовленных людей ошеломяли самые заголовки этих рассказов: «Шайкой по черепу», «И осел ушами шевелит», «Станция Мерв — портит нерв».

Сам редактор «Гудка» без особой нужды не заходил в эту комнату. Только очень находчивый человек мог безнаказанно появляться в этом гнезде иронии и выдерживать перекрестный огонь из-за столов.

В то время никто еще не подозревал, что в этой комнате собралась «могучая когорта» (так они себя шуточно называли) молодых писателей, которые вскоре завоюют широкую известность.

В эту комнату иногда заходил «на огонек» Бабель. За ним учтиво входил Василий Регинин. В то время он редактировал новый журнал «Тридцать дней». Стоя на пороге и как бы боясь войти, Регинин начинал быстро рассказывать последние анекдоты. Часто шквалом врывался Шкловский и с жестоким напором прославлял Стерна и Велемира Хлебникова.

Далеко не каждого принимали в этой комнате приветливо. Халтурщиков встречали зловещим молчанием, а бахвалов и крикунов — ледяным сарказмом.

Мирились только с одним старым и хрипучим халтурщиком-репортером по прозвищу Капитан Чугунная Нога. У него действительно была искусственная железная ступня. Однажды он наступил на ногу кроткому писателю Ефиму Зозуле, и тот около месяца пролежал в больнице. Поэтому, когда капитан входил, все тотчас поджимали ноги под стулья.

Я попал в эту страшную комнату вскоре после

приезда из Екимовки. Меня встретили спокойно, должно быть потому, что я водил дружбу с Бабелем. Для сотрудников «Четвертой полосы» он был бесспорным авторитетом.

— Творятся неслыханные дела! — говорили они. — Из Одессы прибыл выдающий писатель Пересыпи и беззаветный красный конник Исаак Ги де Бабель Мопассан!

Под этой насмешкой скрывалась любовь к Бабелю и даже гордость им. Считалось, что он один знал на ощупь вес каждого слова.

Когда Бабель входил, он долго и тщательно протирал очки, осыпаясь градом острот, потом невозмутимо спрашивал:

— Ну что? Поговорим за веселое? Или как?

И начинался неистощимый разговор, который сотрудники «Гудка» прозвали «Декамероном». Это было похоже на волшебную нитку в сказке (может быть, такой сказки нет и такой нитки тоже нет, но это не имеет значения). Нитку эту надо было отыскать в огромной куче других разноцветных свалывшихся ниток, потянуть за нее — и она начинала вытягивать за собой то красные, то серебряные, то синие и желтые нитки, а потом и закутавшиеся в нитках сосновые шишки, позеленевшие патроны, ленты, орехи и всяческие как будто ненужные, но интересные вещи.

Такая невидимая и несуществующая золотая нитка как бы лежала в ящике стола у кого-нибудь из сотрудников — у Ильфа или Олеша. Лежала до тех пор, пока в комнате не появлялся интересный собеседник. Тогда ее вытаскивали из ящика, и она как бы тянула за собой неистощимую вереницу рассказов.

Досадно, что в то время никто не догадался записывать их, хотя бы коротко. То был шипучий фольклор тех лет.

Я знал мастеров устного рассказа — Олешу, Довженко, Бабеля, Булгакова, Ильфа, польского писателя Ярослава Ивашкевича, Федина, Фраермана, Казакевича, Ардова. Все они щедрые, даже расточительные люди. Их не огорчало то обстоятельство, что блеск и остроумие их импровизаций исчезает почти бесследно. Они были слишком богаты, чтобы жалеть об этом.

К суткам следовало бы прибавить еще несколько часов, чтобы мы могли записать эти неожиданные устные рассказы. Записать, конечно, сверх того, что мы пишем «от себя».

Самый плодовитый писатель (не считая Бальзака) не может работать свежо и в полную силу больше четырех-пяти часов в сутки. Несправедливо, конечно, что писателю не дана возможность продлевать свою жизнь до того времени, когда он напишет все, что задумал. Обыкновенно писатели успевают написать небольшую часть того, что могли бы.

Извините, я, как всегда, отвлекся.

Я уже говорил, что после приезда из Ефимовки начал заходить в «Четвертую полосу» «Гудка». Там мне давали кое-какую работу.

Там я неожиданно встретил Евгения Иванова, нашего одесского Женьку Иванова, бывшего редактора «Моряка». Он носил все ту же мятую, как у адмирала Нахимова, морскую фуражку. Он расцеловался

со мной, рассказал, что редактирует в Москве новую морскую и речную газету. Называется она «На вахте», и редакция ее помещается этажом выше.

Тут же Жеенька предложил мне работать в этой газете секретарем. Я согласился, хотя и заметил Иванову, что название газеты мне не нравится. Что это за название — «На вахте», «На стреме», «На цинке», «На подхвате»!

Иванов не обиделся. Он принял мои слова за обычное зубоскальство.

«Гудок» и «На вахте» помещались во Дворце Труда на набережной Москвы-реки около Устьинского моста.

До революции во Дворце Труда был Воспитательный дом — всероссийский приют для сирот и брошенных детей, основанный известным просветителем Бецким еще при Екатерине Второй.

Московские салопницы без всякой задней мысли называли Воспитательный дом «Вошпитательным». Таково было московское простонародное произношение.

Это был громадный, океанский дом с сотнями комнат, бесчисленными переходами, поворотами и коридорами, сквозными чугунными лестницами, закоулками, подвалами, наводившими страх, парадными залами, домовою церковью и парикмахерской.

Чтобы обойти все это здание по коридорам, нужно было потратить почти час. Население Дворца Труда пользовалось коридорами, как дорожками для прогулок.

Во Дворце Труда мирно жили десятки всяких

профессиональных газет и журналов, сейчас уже совершенно забытых.

Некоторые проворные молодые поэты обегали за день все этажи и редакции. Не выходя из Дворца Труда, они торопливо писали стихи и поэмы, прославлявшие людей всяких профессий — работниц иглы, работников прилавка, пожарных, деревообдслочников и служащих копиручета. Тут же они получали в редакциях гонорары и пропивали их в столовой на первом этаже. Там продавали пиво.

В столовой под низкими сводами всегда плавал слоистый табачный дым. Мы курили тогда дешевые папирсы «Червонец», — тонкие, как гвозди. Они были набиты по-разному — или так туго, что нужно было всасывать в себя воздух со страшной силой, почти до головокружения, чтобы добыть самую ничтожную порцию дыма, или, наоборот, так слабо, что при первой же затяжке папирса складывалась с противным щелканьем, как перочинный ножик. При этом пересоший табак высыпался в пиво или в тарелку с мутным супом.

На столиках в столовой стояли гортензии — шары водянисто-розовых цветов на голых длинных ножках. Эти цветы напоминали сухопарых немок с пышными бесцветными волосами. Вазоны с гортензиями были обернуты сиреневой папирсной бумагой и утыканы окурками.

Мы любили эту столовую. По несколько раз в день мы собирались в ней, пили рыжий, остывший кофе и много шумели.

По утрам в столовой было пусто, пахло только что вымытыми полами и паром. Окурки из вазонов были

убраны. Шипело старое отопление. За окнами над Замоскворечьем наискось летел снег.

Как-то я сидел таким утром в столовой и дописывал рассказ «Этикетки для колониальных товаров». Неожиданно вошел Бабель. Я быстро прикрыл испианные листки газетой, но Бабель подсел к моему столику, спокойно отодвинул газету и сказал:

— А ну, давайте! Я же любопытен до безобразия.

Он взял рукопись, близоруко поднес к глазам и прочел вслух первую фразу: «Вам, между прочим, не кажется, что этот закат освещает отдаленные горы, как лампа?»

— Когда он читал, у меня от смущения похолодела голова.

— Это Батум? — спросил Бабель. — Да, конечно, милый Батум. Раздавленные мандарины на булыжнике и хриплое пение водосточных труб... Это у вас есть? Или будет?

Этого у меня в рассказе не было, но я от смущения сказал, что будет.

Бабель собрал в уголках глаз множество мелких морщинок и весело посмотрел на меня.

— Будет? — переспросил он. — Напрасно.

Я растерялся.

— Напрасно! — повторил он. — По-моему в таком деле не стоит доверять чужому глазу. У вас свой глаз. Я ему верю и потому не позаимствую у вас ни запятой. Зачем вам рассказы с чужим привкусом. Мы слишком любим привкусы, особенно западные. У вас привкус Конрада, у меня — Мопассана. Но мы ведь не Конрады и не Мопассаны. Да, кстати, в первой фразе у вас три лишних слова.

— Какие? — спросил я. — Покажите!

Бабель вынул карандаш и твердо вычеркнул слова: «между прочим», «этот» (закат) и «отдаленные» (горы). После этого он снова прочел исправленную первую фразу: «Вам не кажется, что закат освещает горы, как лампа?»

— Так лучше?

— Лучше.

— Разные бывают лампы, — вскользь заметил Бабель. — А Батума нам не хватает. Помните тесный буфет в пассажирском пароходном агентстве? Когда запаздывал пароход из Одессы, мы приходили туда, сидели и ждали часами. Совершенно одни. А зачем — не знаю. На пристани были свалены сосновые доски. Скипидарные. По воде шлепал дождь. Мы пили потрясающий черный кофе. Щеки горели от морского зимнего воздуха. И на душе было грустно. Потому что красивые женщины остались на севере.

За нашей спиной прозвенела расшатанная стеклянная дверь. Бабель оглянулся и испуганно сказал:

— Спрячьте рассказ! Надвигается «могучая когорта».

Я успел спрятать рукопись. Вошли Гехт, Ильф, Олеша, Славин и Регинин.

Мы сдвинули столики и начался разговор о том, что «Огонек» решил выпустить сборник рассказов молодых одесских писателей. В сборник включили Гехта, Славина, Ильфа, Багрицкого, Колычева, Гребнева и меня, хотя я не был одесситом и прожил в Одессе всего полтора года. Но все почему-то считали меня одесситом, очевидно, за мое пристрастие к одесским рассказам.

Бабель согласился написать для этого сборника предисловие.

Я знал еще по Одессе всех, кто сидел сейчас рядом за столиком. Но здесь они казались другими. Шум Черного моря отдалился на сотни километров, загар побледнел от зимних туманов. Кто знает, если бы все они не были пропитаны с детства морем, солнцем, причудливым бытом и южным весельем, то, может быть, из них не вышли бы писатели.

Особенно интересовал меня Ильф — спокойный, немногословный, со слегка угловатым, но привлекательным лицом. Большие губы делали его похожим на негра. Он был так же высок и тонок, как негры из Мали — самого изящного черного племени Африки.

Но больше всего поражала меня чистота его глаз, их блеск и пристальность. Блеск усиливался от толстых небольших стекол пенсне без оправы. Стекла были очень яркие, как будто сделанные из хрусталя.

Ильф был застенчив, прям, меток и порой насмешлив. Он ненавидел пренебрежительных людей и защищал от них людей робких и уступчивых, — тех, кого легко обидеть. Как-то при мне в большом обществе он холодно и презрительно срезал нескольких крупных актеров, которые подчеркнуто замечали только его, Ильфа, но не замечали остальных — простых и невидных людей. Они просто пренебрегали ими. Это было после головокружительного успеха «Двенадцати стульев». Ильф назвал поведение этих актеров подлостью.

У него был микроскопический глаз на пошлость. Поэтому он замечал и отрицал очень многое, чего дру-

гис не замечали или не хотели замечать. Он не любил слов: «Что же тут такого?!» Это был щит, за которым прятались люди с уклончивой совестью.

Перед ним нельзя было лгать, ёрничать, легко осуждать людей и, кроме того, нельзя было быть невоспитанным и невежливым. При Ильфе невежи приходили в себя. Простое благородство его взглядов и поступков требовало от людей того же.

Ильф был человеком неожиданным. Иной раз его высказывания казались слишком резкими. Но почти всегда они были верными.

Однажды он вызвал сильное замешательство среди изощренных знатоков литературы, сказав, что Виктор Гюго по своей манере писать напоминает испорченную уборную. Бывают такие уборные, которые долго молчат, а потом вдруг сами по себе со страшным ревом спускают воду. Потом опять молчат и опять спускают воду все с тем же ревом.

— Вот точно так же, — сказал Ильф, — и Гюго с его неожиданными и гремющими отступлениями от прямого повествования. Идет оно неторопливо, читатель ничего не подозревает — и вдруг, как снег на голову, обрушивается длиннейшее отступление — о компрачикосах, бурях в океане или истории парижских клоаков. О чем угодно.

Отступления эти с громом проносятся мимо ошеломленного читателя. Потом все стихает, и снова плавным потоком льется повествование.

Я спорил с Ильфом. Мне нравилась манера Гюго.

Я думал тогда — и думаю это и сейчас, — что повествование должно быть совершенно свободным, дерзким, что единственный закон для него — это во-

ля автора. Писатель может менять ритм, характер и окраску повествования как ему будет угодно. Об этом и о многом другом мы говорили в сумрачной столовой.

Пришла мохнатая и будто заспанная зима. В два часа уже зажигали электричество. Снег за окнами становился синим. Уличные фонари желтели, и гор-тензии на столиках оживали и покрывались в свете лампочек слабым румянцем.

Регинин утверждал, что цветы, как и люди, стали теперь неврастениками. Всем известно, что неврасте-ники мутно и расслабленно проводят день, а к вече-ру веселеют и расцветают.

Однажды в столовую вошел со значительным и таинственным видом Семен Гехт.

Я познакомился с ним в редакции «На вахте». Он приносил туда очерки о маленьких черноморских портах. Не об Одессах, Херсонах и Николаевах, а о таких приморских городах, как, скажем, Аккерман, Очаков, Алешки, Голая Пристань или Скадовск. Там пароходы подваливали к ветхим дощатым пристаням — скрипучим, шатким и облепленным рыбьей чешуей.

Очерки были лаконичные, сочные и живописные, как черноморские гамливые базары. Написаны они были просто, но, как говорил Евгений Иванов, «с непонятым секретом».

Секрет заключался в том, что очерки эти резко действовали на все пять человеческих чувств.

Они пахли морем, акацией, бахчами и нагретым инкерманским камнем.

Вы осязали на своем лице дыхание разнообразных морских ветров, а на руках — тяжесть смолистых канатов. В них между волокон пеньки поблескивали маленькие кристаллы соли.

Вы чувствовали вкус зеленоватой едкой брызги и маленьких дынь канталуп.

Вы видели все со стереоскопической выпуклостью, — даже далекие, совершенно прозрачные облака над Кинбурнской косой.

И вы слышали острый и певучий береговой говор ничему не удивляющихся, но любопытных южан, — особенно певучий во время ссор и перебранок.

Чем это достигалось, я не знаю.

Очерки почти забыты, но такое впечатление от них осталось у меня до сих пор. Жаль, что Гехт не продолжил этот удивительный путеводитель по маленьким портам.

Есть люди, без которых невозможно представить себе настоящую литературную жизнь. Есть люди, которые, независимо от того, много или мало они написали, являются писателями по самой своей сути, по составу крови, по огромной заинтересованности окружающим, по общительности, по образности мысли. У таких людей жизнь связана с писательской работой непрерывно и навсегда. Таким человеком и писателем был Гехт.

На этот раз загадочный вид Гехта насторожил всех. Но, будто по уговору, никто его ни о чем не спрашивал. То был верный способ заставить его говорить.

Гехт крепился недолго. Подмигнув нам, он достал из кармана сложенный вчетверо лист бумаги.

— Вот! — сказал он. — Получайте предисловие Бабеля к нашему сборнику!

— Оно короче воробьиного носа! — заметил кто-то. — Просто отписка!

Гехт возмутился:

— Важно не сколько, а как. Зулусы!

Он развернул листок и прочел предисловие. Мы слушали и смеялись, обрадованные легким и пленительным юмором этого, очевидно, самого короткого предисловия в мире.

Потом дело со сборником сорвалось. Он не вышел, а предисловие затерялось. Только недавно его нашел среди своих бумаг один из тех, о ком писал Бабель.

Вот это предисловие:

«В Одессе каждый юноша — пока он не женился — хочет быть юнгой на океанском судне. Пароходы, приходящие к нам в порт, разжигают одесские наши сердца жаждой прекрасных и новых земель. Вот семь одесситов. У них нет ни денег, ни виз. Дать бы им паспорт и три английских фунта, и они укатили бы в недосыгаемые страны, названия которых звонки и меланхоличны, как речь негра, ступившего на чужой берег.

Вот семь молодых одесситов. Они читают колониальные романы по вечерам, а днем они служат в самом скучном из губстатбюро. И потому, что у них нет ни виз, ни английских фунтов — поэтому Гехт пишет об уездном Можайске, как о стране, открытой им и неизведанной никем другим, а Славин повествует о Балте, как Расин о Карфагене. Душевным и чистым голосом подшевает им Паустовский, попавший на Пере-

сыпь, к мельнице Вайнштейна и необыкновенно трогательно притворяющийся, что он в тропиках. Впрочем, и притворяться нечего. Наша Пересыпь, я думаю, лучше тропиков.

Третий одессит — Ильф. По Ильфу — люди замысловатые актеры, подряд гениальные.

Потом Багрицкий, плотояднейший из фламанцев. Он пахнет, как скумбрия, только что изжаренная моей матерью на подсолнечном масле. Он пахнет, как уха из бычков, которую на прибрежном ароматическом песке варят малофонтанские рыбаки в двенадцатом часу июльского дня. Багрицкий полон пурпурной влаги, как арбуз, который когда-то в юности мы разбивали с ним о тумбы в Практической гавани у пароходов, поставленных на близкую Александрийскую линию.

Колычев и Гребнев моложе других в этой книге. У них есть о чем порассказать, и мы от них не спасемся. Они возьмут свое и расскажут о диковинных вещах.

Тут все дело в том, что в Одессе каждый юноша — пока он не женился — хочет быть юнгой на океанском судне. И одна у нас беда, — в Одессе мы жепимся с необыкновенным упорством».

НОЧНЫЕ ПЕЗДА

Все мы жили тогда как попало и потому неважно.

Олеше и Ильфу дали узкую, как пенал, комнату при типографии «Гудка». Гехт жил где-то в Марьиной Роще среди холодных сапожников. Булгаков по-

селится на Садово-Триумфальной в темной и огромной, как скетинг-ринг, коммунальной квартире.

Соседи Булгакова привезли из деревни петуха. Он смущал Булгакова тем, что пел ночью без времени. Жизнь в городе сбивала петуха с толку.

Мне пришлось убраться с Гранатного переулка, так как вернулся из командировки жилец, в комнате которого я поселился.

Сотрудник «На вахте» капитан дальнего плавания Зузенко нашел мне пристанище в Пушкине, под Москвой, рядом с домом, где он жил сам. Пристанище оказалось пустой, как сарай, и ледяной дачей.

В моей комнате стояла кое-какая пыльная мебель и лежала на продавленной тахте потертая шкура белого медведя. Пыль на мебели просто окаменела. Ее нельзя было стереть ничем, разве только счистить напильником. В пазах между бревен пищали мыши.

О Зузенко я уже писал довольно много. Да и нельзя было не писать об этом строптивом и добром человеке с лицом, изуродованным боксом. Мы сдружились, очевидно, по резкой противоположности характеров. Зузенко не знал сомнений, я же был полон ими сверх меры. Зузенко был грубоват и насмешлив, а я, к своему огорчению, был вежлив даже с трамвайными ворами и не любил насмешек.

Сначала мне нравилось жить за городом. Тогда от Мытищ до Пушкина еще тянулся нетронутый лес. Каждый день приходилось ездить в Москву, в редакцию, и возвращаться в полночь последним поездом.

В Москве перед отходом поезда кондуктор проходил по вагонам и сгонял всех пассажиров в один вагон,— для их же собственной безопасности. Тогда

в пригородных поездах сильно грабили (в то время говорили «раздевали»).

Пассажиры нервничали, помалкивали. Да и разговаривать было трудно. Маленькие вагоны шли с таким грохотом, что можно было только перекрикиваться.

Пассажиры были большей частью одни и те же и знали друг друга в лицо. Поэтому на всех новичков они посматривали подозрительно и садились от них подальше.

Самым опасным считался перегон от Лосиноостровской до платформы Тайнинка. «Бандитский вертеп»,— говорили о Тайнинке опытные пассажиры. На попутчиков, сходивших ночью в безлюдной Тайнинке, смотрели с сожалением и гадали, дойдут ли они до дому или нет.

После Тайнинки пассажиры успокаивались и дремали до самого Пушкина.

Мы с Зузенко всегда ездили вместе. В этом было для меня два преимущества: одно на пути из Москвы в Пушкино, а другое — на пути из Пушкина в Москву.

Преимущество на пути из Москвы в Пушкино состояло в том, что с Зузенко я чувствовал себя в безопасности. Человек огромной физической силы и бесстрашия, он каким-то шестым чувством узнавал любую «шпану» и немедленно переходил в наступление. Заметив в вагоне «подозрительного по шпане» человека, он долго и тяжело смотрел на него, потом вставал, шел к нему зловеще и медленно и говорил:

— На первой же остановке выкатывайся с поезда! Без визга!

При этих словах Зузенко засовывал руку в карман шинели.

Удивительнее всего было то, что Зузенко ни разу не ошибся,— «подозрительные по шпане» выкатывались, даже не матерясь.

Но один раз Зузенко опешил. Было это уже за Тайнинкой. Все мирно дремали. Против нас на скамье спал, поджав ноги, мальчишка лет четырнадцати. Он очень вертелся и иногда даже подпрыгивал во сне.

Зузенко высказал предположение, что мальчишку мучают глисты. Поезд рвануло на стрелке, мальчишку подбросило, он проснулся и неожиданно начал стрелять. При этом он кричал: «Дяденька, спасите!» Стрелял он, как опытный бандит, из кармана своего ватника. Пассажиры проснулись и ринулись на площадку.

Зузенко схватил мальчишку за шиворот, но тотчас отпустил.

— Что это, распротак его так! — крикнул он. — Как он стреляет! Руки у него наружу!

В это время из кармана мальчишки раздался сам по себе еще один — последний — оглушительный выстрел. Мальчишка взвыл. Карман у него тлел. Из него шел удушливый дым.

— Ватник снимите! — отчаянно кричал мальчишка. — А то сгорю, дяденька!

Зузенко стащил с мальчишки ватник.

— Что у тебя в кармане, шкет несчастный?

Конопатый, заплаканный шкет признался, что у него в кармане лежали насыпью пробки для пугача. Очевидно, пробки согрелись, долго ерзали и терлись

от качки и рывков поезда и на одном, самом сильном рывке наконец взорвались.

Ватник потушили. Мальчишку пассажиры, как водится, изругали. Зузенко хохотал, раскачиваясь, как араб на молитве. Потом он неожиданно сказал:

— Вот случай для Джекобса.

Джекобс был американский юмористический писатель, любитель такого рода бессмысленных историй.

Второе зузенковское преимущество было связано с утренними поездками в Москву. Во время этих поездок я выслушал множество увлекательных историй из его жизни.

Как только Зузенко входил в вагон в Пушкине, он тотчас начинал рассказывать мне эти истории. Любопытные пассажиры подсаживались поближе.

Вскоре слух об этих рассказах прошел по всему Пушкину. В вагон, куда садился Зузенко, набивалось столько народу, что негде было присесть. Чтобы лучше слышать, пассажиры тесно сбивались вокруг капитана и наваливались мне на спину. Я долго потом не мог отдышаться.

Приходил кондуктор и начинал речь о неправильной нагрузке поезда. Все вагоны пустые, а в этот не втиснешься. Да он и не рассчитан на такую уйму пассажиров. Беспорядок! Наверняка загорятся буксы.

Каждый раз Зузенко и пассажиры вступали с кондуктором в беспорядочный технический спор и доказывали ему, что вагон «не просядет и буксы никак не сгорят».

Зузенко приносил в редакцию «На вахте» свои воспоминания о плаваниях. Воспоминания эти он печатал на старой машинке с латинским шрифтом.

В тех местах, где латинские буквы не совпадали с русскими, Зузенко вписывал русские буквы от руки. Это была каторжная работа.

Мне нравился у Зузенко насмешливый взгляд, взвешивающий собеседника, тяжелая и осторожная поступь, будто по палубе в шторм, грубоватый юмор и склонность к сложным и наивным предприятиям ради сомнительного заработка.

В то время в России было много безработных морских капитанов по той причине, что совсем не было морских кораблей. Поэтому Зузенко числился в резерве советского торгового флота. Он дожидался, когда, наконец, появится подходящее, по его словам, «корыто», на котором он будет плавать если не капитаном, то хотя бы третьим помощником. За пребывание в резерве Зузенко получал ничтожную ставку и потому постоянно изыскивал способы перехватить денег.

Был нэп. Нэпманов и так называемых «частников» Зузенко ненавидел люто и необратимо.

То было племя барышников и комбинаторов. Те из них, кто был повыше рангом и побогаче, пытались придать себе вид промышленников, крупных торговцев и дельцов. Но дальше этого внешнего вида дело, обычно, не шло, и все знали, что это — «липа».

В общем мы относились к нэпу скептически. Все знали, что нэп — явление временное, что с первых же дней своего рождения он дышит на ладан и, совершив свое дело, будет выброшен на свалку истории. Так оно и случилось.

Но нэпманы всех раздражали. Они дико торопились обогащаться. Они задыхались от спешки и шалели от всяческих комбинаций и неизбежного страха. Пределы дозволенного были не особенно ясны. Любой шаг мог оказаться роковым. Все это сообщало характеру нэпманов истеричность. Их существование с судорожным и кургузым размахом, облезлыми автомобилями, увядшими красавицами и ресторанной цыганщиной напоминало плохо сыгранный спектакль.

Где-то в Сибири и на Дальнем Востоке сдавались в концессии рудники и золотые прииски, но это было так далеко от Москвы, что казалось нереальным, и, может быть, поэтому не вызывало тревоги. Мы же сталкивались только с нэпмановской «плотвой». Нас, конечно, не могли смутить кислые дамы и старушечки, торговавшие пончиками и самодельными тянучками из окон своих комнат в первых этажах домов.

Соблазнительные свои товары они раскладывали на подоконниках. Там, кроме пирожков и печенья, можно было увидеть горки пиленого сахара на облезлом фарфоровом блюде (настоящий «сакс»), вязаные галстуки, зажигалки, китовый ус для корсетов и нарядные — розовые и голубые — резинки для дамских подвязок, негодные к употреблению, так как резина давно пересохла. Мы воспринимали нэп главным образом с бытовой и комической стороны.

Особенно славился в то время в Москве «король древесного угля» Яков Рацер. Предприятие его помещалось в Марьиной Роще против дома, где жил Гехт. Каждое утро, чуть начинало светать, Яков Рацер выходил на балкон своего дома и пропускал мимо себя весь длинный обоз угольщиков на колченогих конях.

Рацер стоял, как полководец, принимающий парад своих «войск».

После парада угольщики расползались по всем закоулкам Москвы, оглашая дворы унылыми криками: «Вот уголек кому надо!» Все в угольной пыли, они походили на негритосов. Они удивляли москвичей эмалевой белизной глазных яблок под сизыми веками.

Время от времени Яков Рацер печатал в «Известиях» объявление: «Бывали случаи, что уголь у Якова Рацера оказывался неполповесным, но не было случаев, чтобы уголь у Якова Рацера оказывался сырым». На кульках с самоварным углем Яков Рацер печатал несколько иные и довольно изысканные рекламные стихи:

Так говорит Заратустра:
«Кто рекламирует шустро,
Но не пленяет товаром,
Тот рекламирует даром».
Уголь ли нужен, дрова ли,
Рацера фирма едва ли
Будет Москвою забыта,—
Слава недаром добыта!

Широко известен был еще один частник по фамилии Функ. Он открыл в Москве производство сапожного крема.

Функ тоже понимал толк в рекламе.

На всех улицах висели на фонарях веселые человечки, вырезанные из жести. Они танцевали чечотку, приподняв над головой желтые щегольские канотье, сверкая зубами и сияющими ботинками, только что начищенными пастой Функ.

Человечки восторженно призывали чистить обувь только пастой Функ. Этот призыв выглядел в то время нелепо. По всем улицам шлепали заскорузлыми босыми ногами беспризорники, а обуви, требующей столь идеальной чистки, в Москве вообще не было.

Москва была полна беспризорными. Их вылавливали, увозили в колонии, но они снова возникали на улицах и рынках, ходили стаями, играли в карты в глухих закоулках, спали в подъездах и в пустых асфальтовых котлах, воровали, выпрашивали папиросы и пели по трамваям блатные песни, отбивая такт деревянными ложками.

Вплотную с беспризорными я встретился в ночном пригородном поезде. Это случилось поздней осенью перед жестокими морозами 1924 года.

Однажды мы с Зузенко вошли в плохо освещенный вагон. Ярко светили только фонари на платформе. Их свет проникал внутрь вагона сквозь забрызганные дождем окна. Дождь лил холодный, упорный, с ознобом. В углу вагона шевелилась груда серого тряпья.

— Нетопыри! — сказал Зузенко.

Это были беспризорные. Они лежали вповалку на полу, прижавшись друг к другу, прикрывая собой самого маленького мальчика лет восьми. Свет фонаря падал на него, и первое, что я заметил, это его большие глаза без слез, а потом — дрожь, ужасную неуправляемую дрожь его высохшего маленького тела. Он дрожал так, что в ответ на его дрожь по-

званивало расшатанное стекло в окне вагона. Лежавшие по сторонам мальчишки натягивали на него полы своих рваных «клифтов».

«Клифтами» или «жакетами», называлась одежда беспризорных — кофты или пиджаки с чужого, взрослого плеча, — длинные, ниже колен, с болтающимися рукавами. От времени, пыли и грязи «клифты» приобрели одинаковый мышино-серый цвет и блестели, будто смазанные маслом.

В рваных, обвисших карманах этих «клифтов» хранилось все имущество беспризорников — «марафет», ножи, папирсы, корки хлеба, спички, засаленные карты и обрывки грязных бинтов. Под «клифтами» даже не было истлевших рубах, а желтело озябшее зеленоватое тело, расчесанное в кровавые полосы.

— Не трусись, Царевич, — проговорил осипшим голосом мальчик постарше. — В Мытицах отогреемся.

Вошел кондуктор, посветил на беспризорников фонарем, выругался и прошел мимо.

Мы сели поодаль. В вагоне, кроме нас, почти не было пассажиров. А те немногие, что вошли, сидели тихо и будто ничего не замечали.

— А ну, пацаны! — вдруг сказал Зузенко. — Жс-лающие покурить — вали сюда!

Встал и подошел только мальчик постарше. Остальные — их было трое — продолжали лежать.

Мальчик сел на скамью против нас, поджал босые ноги, жадно закурил, длинно сплюнул и сказал, поглядывая на слабо блестящий морской герб (так называемый «краб») на фуражке Зузенко:

— Ты, моряк, красивый сам собою...

— Заткнись, пацан! — оборвал его Зузенко.

Но мальчик, глядя в сторону, вдруг запел во весь хриплый детский голос:

Позабыт, позаброшен
С молодых юных лет.
Я остался сиротою,
Счастья, доли мне нет!

— Ты это брось! — повторил Зузенко. — Не до шуточек. Дружок твой пропадает вконец.

— Это Шурка-Царевич, — объяснил беспризорник. — А я зовусь Летчик.

— Есть предложение, — так же спокойно сказал Зузенко. — Нельзя его так оставлять.

— Ага! — равнодушно ответил Летчик и высморкался в длинный, как труба, черный рукав. — Второй день горит, аж светится.

— Так вот! Айда к нам в Пушкино. У нас дача. Одну комнату протопим, переживете несколько дней, а там видно будет. Дальше будете действовать по своему усмотрению. Нельзя такого пацанчика загубить.

— А вы нас не зацапасте?

— Балда! — сказал, всерьез обидевшись, Зузенко. — Я капитан дальнего плавания. Понял? А это писатель.

— Шамовку дадите? — спросил Летчик. — На всех, на четверых?

— А ты, видно, и вправду дурак!

— Счас! — ответил Летчик и подсел к своим.

Они долго шептались, потом Летчик вернулся и небрежно сказал:

— Братва соглашается.

У меня на даче пустовало пять комнат. Рядом с моей была самая большая. Она обогревалась той же печкой, что и моя. Никого и ни о чем не надо было спрашивать,— хозяин дачи жил в Москве, и я видел его всего один раз.

Когда мы привели на дачу беспризорных, печка была еще теплая от утренней топки.

В кладовой валялись старые полосатые тюфяки. Мы расстелили их на полу около печки. Беспризорники расселись на тюфяках, закурили и притихли. Я принес Шурке-Царевичу подушку и медвежью шкуру. Мальчики молча смотрели на меня. Я уложил Шурку. Тогда Летчик сказал:

— Обовшивеет этот медведь.

Я промолчал. Мальчики тоже молчали, чем-то подавленные.

Зузенко принес со своей дачи австралийский усовершенствованный примус и вскипятил воду для чая в большом щербатом чайнике. Шепнув мне, что идет за доктором, Зузенко снова ушел. Беспризорники было забеспокоились, но я сказал им, что капитан ушел за шамовкой.

Шурка дышал с тоненьким свистом. Я потрогал его лоб,— от него тянуло палящим жаром.

Через час Зузенко привел старенького доктора-армянина. Он никак не мог протереть озябшими руками старомодное пансне в черепаховой оправе и все время сокрушенно повторял:

— Ой, скандал, скандал! Какой скандал!

Ко времени его прихода беспризорники напились чаю и уснули, сбившись гурьбой на одном тюфяке. Никто из них не проснулся.

Доктор выслушал Шурку, сморщился и объявил, что у мальчика двухстороннее воспаление легких и его надо немедленно отправить в больницу.

На даче у Зузенко были хозяйские большие салазки. Капитан возил на них дрова и воду.

Пока Зузенко ходил за салазками, я налил доктору чаю. Он обхватил стакан обеими руками, чтобы согреть пальцы, и долго молчал. Пенсне вздрагивало у него на переносице, сползало и несколько раз чуть не упало на пол. Доктор снял его, поднес почти вплотную к старческим выпуклым глазам и спросил:

— Как это случилось?

— Что? С мальчиком?

— Нет! Как это случилось что тысячи детей выкинуты, как котята, на улицу?

— Не знаю.

— Нет! — сказал он твердо. — Вы знаете. И я знаю. Но мы не хотим думать об этом.

Я промолчал. О чем говорить! Это безнадежно. Что толку переливать из пустого в порожнее!

— Вот скандал! — повторил доктор, криво усмехаясь. — Уход нужен. Только уход. А эти мальчики опоздали перекочевать на юг. Надо дать знать, чтобы их взяли в колонию. Иначе они пропадут.

Зузенко притащил салазки. Мы закутали Шурку чем могли, в том числе и медвежьей шкурой, уложили на салазки и осторожно повезли в больницу.

Я хотел разбудить Летчика, но он, так же, как и все остальные мальчики, спал тяжелым сном и не проснулся, хотя во сне все время вертелся и яростно чесал грудь.

Мы ушли, но дачу не заперли, чтобы не напугать мальчиков, когда они проснутся.

Возвратились мы на рассвете. Дождь стих. Из леса тянуло острым водянистым холодом.

На даче было пусто. Беспризорники исчезли. На переплете книги «Голый год» Бориса Пильняка, лежавшей на столе, было криво и крупно написано: «Шурка Балашов, отец умерши, матери потерялась».

— Ну что ж! — вздохнул Зузенко. — Улетели чиж. От своих филантропов. Я всегда считал, что свобода сильнее страха смерти. Пацаны это тоже понимают.

Шурка Балашов умер через четыре дня.

Долго после его смерти я не мог избавиться от чувства вины перед ним. Зузенко говорил, что никакой вины нет, что я — гнилой интеллигент и неврастеник, но под кожей на скулах у капитана ходили твердые желваки, и он без конца курил.

Мальчика похоронили в мелкой могиле на краю кладбища. Все время шли дожди, сбивали гнилые листья и засыпали ими низкий могильный горб. Сейчас я, конечно, его уже не найду, но приблизительно знаю, где похоронено маленькое, беспомощное существо, совершенно одинокое в своем страдании.

Жизнь в Пушкине была неприятной. Весь день до позднего вечера я проводил в редакции «На вахте». К полуночи я добирался до вокзала, уезжал в Пушкино, там сразу же окунался в глушь, мрак и безлюдье, быстро засыпал, а утром, еще в полной тем-

ноте, приходилось вставать, топить печку и торопиться на поезд в Москву.

Чередование одних и тех же дел надоедало, утомляло, я подголаживал, и, может быть, от этого у меня несколько раз — всегда по ночам — бывали обмороки.

Один раз я упал на каменные плиты на Северном вокзале и очнулся в вокзальном приемном покое с разбитой в кровь головой. Больше всего меня потрясло то обстоятельство, что сонная медицинская сестра, приводившая меня в чувство, заподозрила, что я пьян.

Я обиделся и ушел, шатаюсь, из приемного покоя. Я опоздал на последний поезд, не встретился с Зузенко и просидел всю ночь в пустом вагоне на путях вблизи вокзала. Голова у меня трещала, мутилась, и я жалел, что рядом нет беспризорных. Все-таки с ними было бы легче. Из-за своей слабости я чувствовал себя таким же беспризорным, как и они.

СТУЖА

Над кострами клубился черный смолистый дым, подкрашенный багровым огнем.

Дым костров и январской стужи низко висел над Москвой. Сквозь этот дым со скрежетом ползли, позванивая, трамвай. Вагоны заросли изнутри клочьями изморози и походили на ледяные пещеры.

Костры складывали на площадях из целых бревен и старых телеграфных столбов. Около огня грелись милиционеры в серых каракулевых шапках с красным верхом — «снегири». Так звали милиционеров

в то время. Милиционеры держали на поводу заиндевелых нетерпеливых коней.

Со стороны Красной площади доносились сильные взрывы. Там разбивали окаменелую землю, готовили могилу для Ленина.

Кострами и дымами Москва была окрашена в черно-красный траур. Черно-красные повязки были надеты на рукава у людей, следивших за бесконечной медленной толпой, продвигавшейся к Колонному залу, где лежал Ленин.

Очереди начинались очень далеко, в разных концах Москвы. Я стал в такую очередь в два часа ночи у Курского вокзала.

Уже на Лубянской площади слышались со стороны Колонного зала отдаленные звуки похоронного марша. С каждым шагом они усиливались, разговоры в толпе стихали, пар от дыхания слетал с губ все судорожнее и короче.

Прощайте же, братья, вы честно прошли
Свой доблестный путь, благородный...

Кто-то запел вполголоса эти слова, но тотчас замолк. Любой звук казался ненужным среди этой полярной ночи. Только скрип и шорох многих тысяч ног по снегу был закономерен, непрерывен, величав. В непроглядной темноте к гробу шли люди с окраин, из подмосковных поселков, с полей, с остановившихся заводов. Шли отовсюду.

Молчание застыло над городом. Даже на далеких железнодорожных путях не кричали, как всегда, паровозы.

Страна шла к высокому гробу, где среди цветов

и алых знамен не сразу можно было рассмотреть изможденное лицо человека с большим бледным лбом и закрытыми, как бы прищуренными глазами.

Шли все. Потому что не было в стране ни одного человека, на жизни которого не отразилось бы существование Ленина, ни одного, кто бы не испытал на себе его волю. Он сдвинул жизнь. Сдвиг этот был подобен исполинскому геологическому сбросу, встряхнувшему Россию до самых недр.

В промерзшем насквозь Колонном зале стоял пар от дыхания тысяч людей.

Время от времени плавное звучание оркестра разбивали пронзительные плачущие крики фанфар. Но они быстро стихали, и снова мерно звучал оркестр, придавая печали торжественность, но не смягчая эту печаль.

Со мной в толпе шел Зузенко.

Долго шли молча. Потом Зузенко поежился и сердито сказал:

— Ну и холодюга! Как в полярной трескострелке! (Так он насмешливо называл все полярные страны.) Веки смерзаются. Грандиозный мороз!

Он помолчал и сказал снова:

— Все сейчас грандиозно. Вот Ленин... Грандиозный разрушитель всяческой скверны и грандиозный созидатель... Дышите через шарф, а то отморозите бронхи... Жаль, не удалось мне с ним поговорить о всемирном союзе моряков. Грандиозный был бы у нас разговор!

Мы медленно прошли мимо гроба и еще медленнее вышли из Колонного зала. Все люди оглядывались и замедляли шаги, стремясь в последнем взгляде

удержать все увиденное — лицо Ленина, его выпуклый лоб, сжатые губы и небольшие руки.

Он был мертв, этот человек, стремительно перекоивший мир. Каждый из нас думал о том, что теперь будет с нами.

— Наши дети, — сказал Зузенко, когда мы вышли из Колонного зала, — будут завидовать нам, если не вырастут круглыми идиотами. Мы влезли в самую середину истории. Понимаете?

Я это прекрасно понимал, как и все, кто жил в то тревожное и молниеносное время. Ни одно поколение не испытало того, что испытали мы. Ни такого подъема, ни таких надежд, ни такой жути, ни таких разочарований и побед. Зеленых от голода и почерневших от боев победителей вела только нетреклопная вера в торжество грядущего дня.

Мне было в то время тридцать лет, но прожитая жизнь уже тогда казалась мне такой огромной, что при воспоминании о ней делалось страшно. Даже холодок подкатывал под сердце.

«Действительно ли ты сын своего времени?» — думал я. Всем существом я понимал, что я неотделим от времени, от судьбы страны, от радостей, какие так редко испытывал мой народ, и от страданий, которые выпали на его долю с такой незаслуженной щедростью.

Мы шли с Зузенко на Северный вокзал по улицам, охваченным стужей. Она яростно подвывала под ногами.

«Век шестует путем своим железным», — говорил я про себя. Эти слова преследовали меня весь тот день.

— Что вы бормочете? — спросил Зузенко.

— Да так... Ничего...

Железный век! И вдруг в памяти зазвенели, поднявшись из ее глубины, далекие слова:

Кто на снегах возрастил Феокритовы нежные розы?
В веке железном, скажи, кто золотой угадал?

«Век шествует путем своим железным». Но его путь, конечно, ведет к золотому веку, к миру, к разуму. К золотому веку! Надо верить в это. Иначе нельзя жить.

Потом мы долго ехали с Зузенко в Пушкино. Пустой дачный поезд грохотал и качался в пару. Колеса вагонов звучно били по стыкам рельс. Им вторило ночное эхо. Казалось, что оно тоже замерзает от стужи и потому звенит, как тонкий лед, разбитый камнем.

В Пушкине все дымилось от мороза.

— Сорок градусов, если не больше, — сказал Зузенко. — Зайдемте ко мне. Погреемся.

Я любил заходить к Зузенко. Маленькая его дача была засыпана снегом по самые окна.

Зузенко зажег свечу. На бревенчатых стенах висели, приколотые кнопками, заграничные пароходные плакаты. Они были очень старые, рваные, но заманчивые. Особенно один, где был изображен полосатый — белый и с красным — маяк на песчаном берегу, маслянистое море и цветущий куст олеандра. Не верилось, что на свете бывают такие смелые сочетания алых цветов и лилового моря.

У Зузенко всегда было холодно. Окна заросли льдом, — снег в ту зиму валил почти непрерывно.

Плакаты, казалось, съезживались от такой зимы и быстро тускнели. Я любил рассматривать их, хорошо понимая, что никогда не попаду ни в одно из великоленных мест, изображенных на этих плакатах.

Кроме плакатов, у Зузенко была библия, лоция Атлантического океана, несколько книг по марксизму и растрепанный том энциклопедии Брокгауза и Ефрона на букву «Н».

Зузенко, оказывается, изучал библию, чтобы вести в Австралии, где он прожил несколько лет, бурные диспуты со священниками христианских церквей. Это было его любимое занятие, если не считать морского дела и постоянных схваток со всякими соглашателями, бюрократами, непачами, хлюпиками и размагниченными интеллигентами.

Зузенко разжег свой австралийский примус. Он ревел, как перегретый паровой котел, и был готов каждую секунду взорваться. Стало теплей.

Мы молча выпили чай с черными сухарями. Потом Зузенко спросил:

— Поедете завтра на похороны Ленина?

— Конечно.

— В чем? Мороз крепчает. Ваше осеннее пальтишко — чистое рядно, чтобы не сказать дерьмо. Да вас уже и сейчас трясет. Жаль, нет термометра.

— У меня есть.

— Померяйте. А завтра утром я зайду. Пораньше.

Я ушел. Ко мне от дома Зузенко вела протоптанная в снегу тропинка. Густые ели опустили на нее мохнатые лапы, отягченные снегом. Я задевал их, и снег несколько раз слетал мне за шиворот. Каждый раз я вздрагивал, как от удара ножом.

Я часто оступался в глубокий снег. Лес вокруг трещал и скрипел.

В моей комнате было тоже холодно, как в запертом леднике. Часто присаживаясь на табурет, чтобы отдышаться и избавиться от головокружения, я затопил печку и тотчас лег, не раздеваясь, укрывшись знакомой медвежьей шкурой. Под ней умирал маленький мальчик Шурка Балашов, и она из больницы верпулась ко мне. Занавески на окнах примерзли к стеклам и где-то в пазах меж бревен пищали мыши.

Даже под медвежьей шкурой я слышал тошнотворный запах мышиного помета. И все думал, ежеминутно теряя нить своей мысли (она рвалась, как гнилая пряжа) о своей неустроенности, о том, что пужно сделать не только в комнате, но и в жизни генеральную уборку, все вымыть и выветрить. Но этого почему-то никак нельзя сделать зимой. Как будто беспорядок моего существования примерз ко мне и его не отодрать, — не хватит сил.

Я понимал, что заболеваю, и сказал громко — на всю комнату, на всю пустую промерзшую дачу: — Человек не может быть один. Если он один, то только по собственной вине. Только поэтому.

Голова у меня мутилась. Я подумал, что сейчас, в такие дни просто нельзя уступать смутным и печальным мыслям, нельзя позволять тоске распорядиться собой.

Мир потрясен. Москва пылает в похоронных кострах. Люди ждут избавления от тысячелетних и бессильных страданий. Ушел человек, который знал, что делать.

Он знал. Завтра его опустят в прокаленную хо-

лодом землю. Первая же ночь засыплет могилу снегом и будет равнодушно продолжать свой предназначенный путь.

Я потянулся к часам. Печка догорала. При свете углей я увидел, что уже шесть часов. А между тем тьма как будто сгустилась.

В стенах сильнее забегали и запищали мыши. Мне было жарко, душно, хотя холод сжимал мне лоб ледяной рукой. От этого болела голова.

Очнулся я утром, если можно назвать утром серый сумрак, заползавший в комнату из окна и тут же падавший в темноту на пол. Снег уже не шел.

Надо было собираться и ехать в Москву.

Пока я умывался оттаявшей водой, сумрак начал наполняться синью. Вскоре оранжевые пятна солнца упали на черные стены и на фотографию Блока. На его лице лежала легкая надменность гения.

Зузенко постучал ко мне в окно и крикнул, приложив ладони к стеклу, что мороз осатанел и от него болят легкие.

— Вам ехать в Москву невысказанно, — прокричал он. — Оставайтесь. Не смейте вставать и открывать мне дверь. Я скоро вернусь и все расскажу.

У меня не было ни сил, ни голоса спорить. Он ушел. Я все же натянул пальто, замотал шею старым шарфом, натянул на уши кепку и вышел.

Я добрал до железнодорожного переезда как раз в то время, когда прошел на Москву последний утренний поезд. Я опоздал.

Тогда я пошел вдоль полотна в сторону Москвы, но не прошел и двух километров. Кружилась голова.

Мне хотелось сесть на откос в снег и посидеть немного. Но я знал, что в такой мороз этого делать нельзя. Поэтому я все шел и шел, спотыкаясь, понимая, что идти бессмысленно и надо возвращаться.

По своей нелепой привычке я все время загадывал — вот дойду до того телеграфного столба и поверну.

Телеграфный столб задержал меня надолго. Я прислонился к нему, оглянулся и увидел, как Пушкино тяжело дымил всеми своими печными трубами, всем своим березовым дымом. Дым был алым от морозного солнца.

Впереди так же яростно, как и Пушкино, заваливая дымом всю землю, курилась Клязьма.

Лес потрескивал от мороза, как тлеющие дрова, и часто сбрасывал с вершин плоские блестящие снежки, похожие на рыбы чешуйки. Каждая ель, отягощенная снегом, стояла, как страж этой тихой зимней пустыни.

Я стоял, ждал. Я убеждал себя, что в этой ломкой тишине обязательно услышу, когда гроб будут опускать в могилу, хотя бы и очень отдаленный, но слитный гул всех заводских гудков Москвы. Может быть, даже услышу громыхающий вздох оружейных залпов.

Но было очень тихо. Только все сильнее потрескивал лес.

Со стороны Пушкина, выбрасывая столбы дыма, шел поезд. Был слышен его нарастающий гром.

Шел сибирский экспресс. Он всегда проходил в это время мимо Пушкина, не останавливаясь, не тормозя, уволакивая за стрелки тяжелые пульманов-

ские вагоны. Все казалось, что вагоны хотят отстать, остановиться, но паровоз безжалостно мчит их вперед и не дает отдышаться.

Поезд приближался. Внезапно он вздрогнул. Залязгали и заскрежетали тормоза. Грохот колес оборвался, и поезд сразу остановился среди леса. Паровоз дышал, как запаленная лошадь.

Он остановился там, где его застало время похорон.

Тотчас пар вырвался струей из недр паровоза, и паровоз закричал.

Он кричал непрерывно, не меняя тона. В его крике слышалось отчаяние, гнев, призыв.

Этот могучий гудок летел окрест — в леса, в стужу, в поля, где одним глубоким пластом расстилались снега.

Прошла минута, две. Паровоз кричал все так же томительно, так же тоскливо и непрерывно, возвещая, что сейчас на Красной площади в Москве предадут погребению тело Ленина.

Поезд промчался через тысячи километров великой русской земли, но опоздал. Всего на сорок минут.

Мне казалось, что я слышу не только гудок сибирского экспресса, но вопль всей Москвы. В эту минуту остановилась жизнь. Даже морские пароходы легли в дрейф и оглашали свинцовые воды морей плачем сирен.

Гудок сразу стих, и поезд медленно тронулся в задымленную даль к близкой Москве.

Все было кончено. Я побрел домой.

На дачах мертво висели траурные флаги.

На обратном пути я не встретил ни одного чело-

века. Мне казалось, что вымер весь мир и жизнь иссякла, как последний неприятный свет этого январского дня с его никому не нужной мучительной стужей и горьким запахом дыма.

Вечером вернулся Зузенко и застал меня в жару и бреду. Я проболел больше месяца.

СНЕЖНЫЕ ШАПКИ

Как-то ближе к весне, тихим и снежным днем ко мне в Пушкино приехал Булгаков. Он писал в то время роман «Белая гвардия», и ему для одной из глав этого романа нужно было обязательно посмотреть «снежные шапки» — те маленькие сугробы снега, что за долгую зиму накапливаются на крышах, заборах и толстых ветвях деревьев. Весь день Булгаков бродил по пустынному в тот год Пушкину, долго стоял, смотрел, запахнув старую, облезлую доху, — высокий, худой, печальный, с внимательными серыми глазами.

— Хорошо! — говорил он. — Вот это мне и нужно. В этих шапках как будто собрана вся зимняя тишина.

— Декадент! — сказал о Булгакове Зузенко. — Но, видно, чертовски талантливый тип. Добросовестно себя тренирует.

Что он этим хотел сказать? Я не понял. Тогда Зузенко столь же неясно и неохотно объяснил:

— Натаскивает себя на впечатления. Мастак!

Пожалуй, в этом он был прав. Булгаков был жаден до всего, если можно так выразиться, выпуклого в окружающей жизни.

Все, что выдавалось над ее плоскостью, будь то человек или одно какое-нибудь его свойство, удивительный поступок, непривычная мысль, внезапно замеченная мелочь (вроде согнутых от сквозняка под прямым углом язычков свечей на театральной рампе) — все это он схватывал без всякого усилия и применял и в прозе, и в пьесах, и в обыкновенном разговоре.

Может быть, поэтому никто не давал таких едких и «припечатывающих» прозвищ, как Булгаков. Особенно отличался он этим в Первой киевской гимназии, где мы вместе учились.

— Ядовитый имете глаз и вредный язык, — с сокрушением говорил Булгакову инспектор Бодянский. — Прямо рветесь на скандал, хотя и вырели в почтенном профессорском семействе. Это ж надо придумать! Ученик вверенной нашему директору гимназии обозвал этого самого директора Маслобоем! Неприличие какое! И срам!

Глаза при этом у Бодянского смеялись.

Семья Булгаковых была хорошо известна в Киеве — огромная, разветвленная, насквозь интеллигентная семья.

Было в этой семье что-то чеховское, от «Трех сестер» и что-то театральное.

Булгаковы жили на спуске к Подолу против Андреевской церкви, — в очень живописном киевском закоулке.

За окнами их квартиры постоянно слышались звуки рояля и даже пронзительной валторны, голоса молодежи, беготня и смех, споры и пение.

Такие семьи с большими культурными и трудовыми

ми традициями были украшением провинциальной жизни, своего рода очагами передовой мысли.

Не знаю, почему до сих пор не нашлось исследователя (может быть, потому, что это слишком трудно), который проследил бы жизнь таких семей и раскрыл бы их значение хотя бы для одного какого-нибудь города, — Саратова, Киева или Вологды. То была бы не только ценная, но и увлекательная книга по истории русской культуры.

После гимназии я потерял Булгакова из виду, и мы снова встретились только теперь, в редакции «Гудка».

В ту зиму Булгаков писал свои острые рассказы, где насмешка и гротеск достигали разящей силы.

Я помню то ошеломление, какое вызвали такие рассказы Булгакова, как «Записки на манжетах», «Роковые яйца», «Дьяволиада», и «Похождения Чичикова (Поэма в двух пунктах с прологом и эпилогом)».

Художественный театр предложил Булгакову на основе его романа «Белая гвардия» написать пьесу. Булгаков согласился. Так появились «Дни Турбиных».

Многострадальная и блестящая, эта пьеса пережила много перипетий, запретов, но победила всех своей талантливостью и драматургической силой.

В ходе этой постановки возникло много гротескных, почти невероятных подробностей. Гофманиада сопутствовала Булгакову всю его жизнь.

Недаром любимым писателем Булгакова был Гоголь. Не тот истолкованный по-казенному Гоголь, которого мы принесли в жизнь с гимназической

скамьи, а неистовый фантаст, безмерно пугающий людей то своим восторгом, то сардоническим хохотом, то фантастическим воображением, от которого стынет кровь.

Гоголь всегда как бы стоит позади читателей и своих героев и пристально смотрит им в спину. И все оглядываются, боясь его всепроницающего взгляда. А оглянувшись, вдруг с облегчением замечают на глазах Гоголя слезы восхищения чем-то столь прекрасным, как сверкающее италийское небо над Римом или бешеный раскат русской тройки по ковыльным степям.

У Булгакова была странная и тяжелая судьба.

МХАТ играл только его старые пьесы. Новая пьеса «Мольер» была запрещена. Прозу его перестали печатать.

Он очень страдал от этого, мучился и, наконец, не выдержал и написал письмо Сталину, полное высокого достоинства русского писателя. В этом письме он настаивал на единственном и священном праве писателя — праве печататься и тем самым общаться со своим народом и служить ему всеми силами своего существа.

Ответа он не получил.

Булгаков тосковал. Он не мог остановить своих писательских мыслей. Не мог выбросить на свалку свое воображение. Худшей казни нет и не может быть для пишущего человека.

Лишенный возможности печататься, он выдумывал для своих близких людей удивительные рассказы — и грустные и шуточные. Он рассказывал их дома, за чайным столом.

К сожалению, только небольшая часть этих рассказов сохранилась в памяти. Большинство их забылось или, выражаясь старомодно, кануло в Лету.

В детстве я очень ясно представлял себе эту Лету — медленную подземную реку с черной водой. В ней очень долго и безвозвратно тонули, как будто угасали, люди и даже человеческие голоса.

Я помню один такой рассказ.

Булгаков якобы пишет каждый день Сталину длинные и загадочные письма и подписывается: «Тарзан».

Сталин каждый раз удивляется и даже несколько пугается. Он любопытен, как и все люди, и требует, чтобы Берия немедленно нашел и доставил к нему автора этих писем. Сталин сердится: «Развели в органах тунеядцев, одного человека словить не можете!»

Наконец Булгаков найден и доставлен в Кремль. Сталин пристально, даже с некоторым доброжелательством его рассматривает, раскуривает трубку и спрашивает, не торопясь:

— Это вы мне эти письма пишете?

— Да, я, Иосиф Виссарионович.

Молчание.

— А что такое, Иосиф Виссарионович? — спрашивает обеспокоенный Булгаков.

— Да ничего. Интересно пишете.

Молчание.

— Так, значит, это вы — Булгаков?

— Да, это я, Иосиф Виссарионович.

— Почему брюки заштопанные, туфли рваные? Ай, нехорошо! Совсем нехорошо!

— Да так... Заработки вроде скудные, Иосиф Виссарионович.

Сталин поворачивается к нарктому снабжения:

— Чего ты сидишь, смотришь? Не можешь одеть человека? Воровать у тебя могут, а одеть одного писателя не могут? Ты чего побледнел? Испугался? Немедленно одеть. В габардин! А ты чего сидишь? Усы себе крутишь? Ишь, какие надел сапоги! Сними сейчас же сапоги, отдай человеку. Все тебе сказать надо, сам ничего не соображаешь!

И вот Булгаков одет, обут, сыт, начинает ходить в Кремль, и у него завязывается со Сталиным неожиданная дружба. Сталин иногда грустит и в такие минуты жалуется Булгакову:

— Понимаешь, Миша, все кричат — гениальный, гениальный. А не с кем даже коньяку выпить!

Так постепенно черта за чертой, крупца за крупцей идет у Булгакова лепка образа Сталина. И такова добрая сила булгаковского таланта, что образ этот человечен и даже в какой-то мере симпатичен. Невольно забываешь, что Булгаков рассказывает о том, кто принес ему столько горя.

Однажды Булгаков приходит к Сталину усталый, унылый.

— Садись, Миша. Чего ты грустный? В чем дело?

— Да вот пьесу написал.

— Так радоваться надо, когда целую пьесу написал. Зачем грустный?

— Театры не ставят, Иосиф Виссарионович.

— А где бы ты хотел поставить?

— Да, конечно, в МХАТе, Иосиф Виссарионович.

— Театры допускают безобразие! Не волнуйся, Миша. Садись.

Сталин берет телефонную трубку.

— Барышня! А, барышня! Дайте мне МХАТ! МХАТ мне дайте! Это кто? Директор? Слушайте, это Сталин говорит. Алло! Слушайте!

Сталин начинает сердиться и сильно дуть в трубку.

— Дураки там сидят в Наркомате связи. Всегда у них телефон барахлит. Барышня, дайте мне еще раз МХАТ. Еще раз, русским языком вам говорю! Это кто? МХАТ? Слушайте, только не бросайте трубку! Это Сталин говорит. Не бросайте! Где директор? Как? Умер? Только что? Скажи, пожалуйста, какой пошел нервный народ!

ПРОВОДЫ УЧЕБНОГО КОРАБЛЯ

Норвежский парусный барк с железным корпусом — прекрасный океанский корабль — сел на камни во время первой мировой войны в горле Белого моря.

Русское правительство купило этот корабль у Норвегии. После революции ему дали название «Товарищ», превратили в учебный корабль торгового флота и летом 1924 года отправили из Ленинграда в кругосветное плавание.

В редакции «На вахте» началось волнение — кого послать в Ленинград корреспондентом на проводы «Товарища»?

Это был первый советский парусный корабль, уходивший в такое заманчивое плавание. Я, конечно,

никак не надеялся попасть на проводы «Товарища». Я понимал, что право на это имеют прежде всего наши сотрудники-моряки Новиков-Прибой и Зузенко.

Женька Иванов устроил по этому поводу совещание. На нем неожиданно появился Александр Грин.

Я видел его тогда в первый и в последний раз. Я смотрел на него так, будто у нас в редакции, в пыльной и беспорядочной Москве появился капитан «Летучего Голландца» или сам Стивенсон.

Грин был высок, угрюм и молчалив. Изредка он чуть заметно и вежливо усмехался, но только одними глазами — темными, усталыми и внимательными. Он был в глухом черном костюме, блестящем от старости, и в черной шляпе. В то время никто шляп не носил.

Грин сел за стол и положил на него руки — жилистые сильные руки матроса и бродяги. Крупные вены вздулись у него на руках. Он посмотрел на них, покачал головой и сжал кулаки, — вены сразу опали.

— Ну вот, — сказал он глуховатым и ровным голосом, — я напишу вам рассказ, если вы дадите мне, конечно, немного денег. Аванс. Понимаете? Положение у меня безусловно трагическое. Мне надо сейчас же уехать к себе в Феодосию.

— Не хотите ли вы, Александр Степанович, съездить от нас в Петроград на проводы «Товарища»? — спросил его Женька Иванов.

— Нет! — твердо ответил Грин. — Я болею. Мне нужно совсем немного, самую малую толику. На хлеб, на табак, на дорогу. В первой же феодосийской кофейне я отойду. От одного запаха кофе и стука

бильярдных шаров. От одного парового дыма. А здесь я пропадаю.

Женька Иванов тотчас же распорядился выписать Грину аванс.

Все почему-то молчали. Молчал и Грин. Молчал и я, хотя мне страшно хотелось сказать ему, как он украсил мою юность крылатым своим воображением, какие волшебные страны цвели, никогда не отцветая, в его рассказах, какие океаны блистали и шумели на тысячи и тысячи миль, баюкая бесстрашные и молодые сердца.

И какие тесные, шумные, певучие и пахучие портовые города, залитые успокоительным солнцем, превращались в нагромождение удивительных сказок и уходили вдаль, как сон, как звук затихающих женских шагов, как опьяняющее дыхание открытых только им, Грином, благословенных и цветущих стран.

Мысли у меня метались и путались в голове, я молчал, а время шло. Я знал, что вот-вот Грин встанет и уйдет.

— Чем вы сейчас заняты, Александр Степанович? — спросил Грина Новиков-Прибой.

— Стреляю из лука перепелов в степи под Феодосией, за Сарыголом, — усмехнувшись, ответил Грин. — Для пропитания.

Нельзя было понять, — шутит ли он или говорит серьезно.

Он встал, попрощался и вышел прямой и строгий. Он ушел навсегда, и я больше никогда не видел его. Я только думал и писал о нем, сознавая, что это слишком малая дань моей благодарности Грину.

за тот щедрый подарок, какой он бескорыстно оставил всем мечтателям и поэтам.

— Большой человек! — сказал Новиков-Прибой. — Заколдованный. Уступил бы мне хоть несколько слов, как бы я радовался! Я-то пишу, честное слово, как полотер. А у него вдохнешь одну строку — и задохнешься. Так хорошо!

Новиков-Прибой разволновался и тоже отказался ехать на проводы «Товарища».

— Только сердце себе буравить, — сказал он сердито.

Пришла очередь Зузенко. Он подмигнул мне и сказал, что согласился бы идти на «Товарище» капитаном. Приезжать же ему, старому морскому волку, на корабль в качестве «щелкопера» неуместно. Обойдутся и без него.

Тогда Женька Иванов предложил ехать мне. И сам тоже вызвался ехать.

Мы выехали на следующий день.

Я первый раз в жизни ехал на север. Уже в поезде за Тверью я почувствовал величавость его лесов, тусклого неба и равнин, озаренных бледным солнечным светом.

В детстве я читал у Пушкина, что «город Петра» возник во тьме лесов, среди чухонских болот. Потом это представление забылось. Его вытеснила сложная история города, его торжественная архитектура, постоянное присутствие здесь сотен замечательных людей.

Еще не зная Петербурга, я видел его их глазами.

Поколения писателей, поэтов, художников, ученых, полководцев, моряков и революционеров, пре-

красных девушек и блестящих женщин сообщали полуночной столице облик героический и почти нереальный. По милости писателей и поэтов Петербург был населен призраками. Но для меня они были так же реальны, как и окружающие люди.

В глубине души я верил, что Евгений Онегин, Настасья Филипповна, Незнакомка и Анна Каренина жили здесь на самом деле и этим обогатили мое познание Петербурга. Нельзя себе представить Петербург без этого сонма сложных и привлекательных лиц.

Я был уверен, что в Петербурге жизнь реальная и жизнь, рожденная воображением, сливаются неразрывно.

Я чувствовал на расстоянии его притягательную силу. Как будто в светлом воздухе и блеске ночей именно со мной должны были совершиться всякие события, похожие на те, что действительно происходили в этом городе и навек запомнились людям.

Поэтому, подъезжая к Ленинграду, я волновался так сильно, что просто оглох, не слышал вопросов, обращенных ко мне, и вообще был похож на одержимого.

Город появился как видение, созданное из мглистого воздуха. Дымка лежала в далях его проспектов. Сквозь нее бледно светила легендарная игла Адмиралтейства. Над Невой покачивался слюдяной солнечный блеск и пролетали легкие ветры со взморья.

Линии величественных зданий (я сразу понял, что таких архитектурных чудес нет больше нигде на свете) были чуть размыты северным воздухом и приобрели от этого особую выразительность.

На Невском проспекте меж влажных торцов пробивалась свежая трава. Ленинград был в тот год совершенно бездымен, чист. Почти все его заводы бездействовали.

Мы сшли с Ивановым с вокзала на Васильевский остров на стареньком форде. Я боялся, что Иванов начнет болтать и мне придется прислушиваться к его словам и отвечать на них. Но он оказался молодцом! Он молчал и только, прищурившись, смотрел вокруг.

Сотни раз до этого я читал и слышал слова «На берегах Невы». Но я, конечно, не понимал, что это значит, пока со взлетающего длинного моста не грянул в глаза величавый разворот дворцов и не сверкнула синева обветренной Невы.

Над царственным простором горело солнце и цепенела тишина. Даже не тишина, а нечто большее — великая немота этого великолетия.

Очень легко дышалось. Может быть, потому, что воздух непрерывно соприкасался со смолой сосновых торцов и запахом лип. Здесь они казались такими темными, как нигде в мире. Особенно липы в Летнем саду.

Мы вышли из машины около Морского корпуса. По кривым, осевшим от времени огромным плитам мы поднялись в здание корпуса, в холодный парадный зал. Там шло собрание моряков в связи с отплытием «Товарища».

Иванов шепнул мне, что этот зал — единственный в мире потому, что он подвешен к стенам на огромных корабельных цепях. Я ему не поверил. Я не видел никаких цепей, но все же пытался уловить едва заметное качание паркетного пола. Если зал

действительно подвешен, то он должен был бы качаться.

Но зал стоял твердо, не шелохнувшись.

Женя познакомил меня с рыжим веселым стариком — знаменитым парусным капитаном и морским писателем Лухмановым. Он подтвердил, что зал Морского корпуса действительно висит на цепях, и бесечно сказал, что в этом нет ничего удивительного.

Для меня же все вокруг было удивительным, — и зал, и морские эмблемы на его стенах, и большие, блестящие сухим лаком модели кораблей, стоявшие на подставках вдоль стен.

Я сидел невдалеке от модели старого линейного корабля, очень пристально всматривался в него (модель стояла на уровне окна), и, должно быть, поэтому у меня в глазах вдруг что-то сместилось и дрогнуло. И вот уже этот линейный корабль уплыл за окно и оказался стоящим на якоре посреди Невы. Флаги его трепетали от ветра. Корабль кланялся жерлами старинных пушек — каронад, глядевших из люков.

Прикрыв его на минуту дымом, прошел буксирный катер. Корабль закачался на волнах от катера, чертя бугшпритом зигзаги по небу — то выше, то ниже Исаакиевского собора, видневшегося на другом берегу. Этот оптический обман радовал меня, как неожиданное возвращение детских моих ощущений.

Жестокое сожаление, даже досада охватили меня. Я был совершенно уверен, что не имею права видеть все это великолепное зрелище только один.

Всю жизнь я испытывал непоправимое сожаление, когда бывал один вдалеке от любимых людей — среди опаленных островов Эгейского архипелага,

у берегов Сардинии, в темном и искристом Тирренском море, в феерическом блистании ночных парижских бульваров, во вписанном в туман и блеклую листву платанов Эрменонвиле, где умер Жан-Жак Руссо, на «плянтах» Кракова и в рыбацких городках Болгарии, пропахших инжиром и «ясным» вином.

Иванов окликнул меня. Надо было идти на «Товарища». Он стоял, расцветенный флагами, у гранитной набережной.

На его палубе на длинных столах был сервирован обед. Столы были усыпаны полевыми цветами и обыкновенной травой.

Перед обедом Лухманов позвал Женю Иванова и меня в низкую темноватую каюту с дубовыми стенами, достал из шкафчика зеленую пузатую бутылку и налил всем какой-то адской жидкости. Она сожгла мне горло. Я сразу же пропитался до самых костей вяжущей горечью.

Поэтому, когда я вышел из каюты, Нева качнулась и чуть не сбила меня с ног. Шпиль Петропавловской крепости провел по небу размашистую дугу, а проходивший мимо катер показался мне дельфином. Он пенился, нырял, трубил в рог, от его борта водопадами летели радуги.

Я был пьян от одного стаканчика этой жидкости.

— Однако вы здорово надрались,— сказал мне Иванов.— Как в Одессе на даче капитана Косоходова. Помните?

Я помнил, конечно, но сейчас я не хотел вспоминать об Одессе. Довольно с меня Ленинграда. У меня от него началось сердцебиение.

Иванов обиделся за Одессу, но, по-моему, совер-

шенно напрасно. Одесса — Одессой! Пусть живет, грохочет дрогами биндюжников, засоряет портовую воду арбузными корками, острит и хохочет, чадит жареными кабачками. Каждому свое!

Сейчас в меня вошел новый магический мир. Мне надо было привыкнуть к нему и вернуть потерянное спокойствие.

БЕСПЛАТНЫЙ ТАБАК

Есть целые полосы жизни, о каких не хочется вспоминать. И не потому, что с ними связаны какие-нибудь наши ошибки, несчастья или неудачи. В неудачах, как говорил мой отец, тоже бывают хорошие стороны.

Нет, не из-за этих причин мне не хочется иной раз возвращаться памятью к прошлому. Вспоминать о некоторых годах нет охоты потому, что они ничего не прибавили к тому представлению о настоящей жизни, какое существует у каждого из нас. Наоборот, они даже урезали это представление.

Таким плохим было время, когда я ушел летом 1924 года из газеты «На вахте» и перешел на работу в телеграфное агентство РОСТА. Туда меня затащил Фраерман, переехавший в Москву из Тифлиса.

Поначалу я зарабатывал в РОСТА очень мало. Я все еще жил в Пушкине и никак не мог устроить свою жизнь более сносно. Каждый месяц у меня дней за десять до получения кончались деньги. На еду еще кое-как хватало, но на папиросы не оставалось ничего.

Беспрерывно «стрелять» папиросы у друзей и

знакомых было неловко и в конце концов невозможно. У этого занятия тоже был свой предел.

Тогда я совершенно неожиданно открыл простой и бесплатный способ добычи табака.

Я выходил в Пушкине к полотну Северной железной дороги и шел вдоль путей, подбирая все окурки и так называемые «бычки», выброшенные пассажирами из окон вагонов. По пути от Пушкина до Клязьмы за какие-нибудь три километра я обычно набирал до двух сотен окурков.

Постепенно у меня накопились ценные наблюдения и над окурками и над курильщиками.

Некоторых курильщиков я презирал, а к другим, правда, немногим, чувствовал симпатию и благодарность.

Не взлюбил я тех, кто докуривал папиросы до картонного мундштука. Очевидно, это были люди расчетливые и скупые.

С одобрением я относился к курильщикам нервным и капризным. Они никогда не докуривали папирос до конца, а сплошь и рядом выбрасывали их после одной-двух затяжек.

Сначала я собирал окурки один и скрывал это от Зузенко. Но вскоре проникательный капитан догадался, откуда у меня появились запасы разносортного табака, пришел в восхищение от моего открытия, и мы начали собирать окурки вместе.

Это было и веселее и добычливее.

Добычливее потому, что у Зузенко было острое капитанское зрение. А веселее потому, что окурки давали нам пищу для совместных выдумок, острот и насмешек, а в редких случаях — и для торжества.

Так мы торжествовали, когда нашли на путях резиновый кисет, набитый легким табаком, и толстую сигару — совершенно черную и едкую, будто ее вымочили в селитре. Ее, должно быть, уронил какой-нибудь иностранец — пассажир сибирского экспресса («капиталистическая раззява», сказал о нем Зузенко).

Изредка мы находили окурки со следами губной помады. На оттиске от женских губ всегда оставалась легкая сетка морщинок.

Зузенко утверждал, что рисунок губных морщин у всех женщин был совершенно разный, подобно тому как разнятся у людей линии на большом пальце руки. Такие окурки вызывали у капитана взрыв фантазии. Он полагал, что по линиям губ можно было находить потерянных людей или отыскивать преступниц.

Цвет губной помады соответствовал, по мнению капитана, характеру женщин. Очень алая помада выдавала пылких южанок, розовая — наивных стрелокотух, желтоватая — женщин загадочных и властных, а синеватая — нерях.

Довольно скоро мы заметили, что окурков на перроне Пушкино—Клязьма становится все меньше. Тогда мы начали доезжать из Пушкина до платформы Тайнинка и оттуда уже шли пешком вдоль дороги до Лосинки. Так были открыты новые богатые россыпи окурков.

Возвратившись домой, мы отрезали от окурков обугленные концы, высыпали чистый табак, тщательно перемешивали его, сбрызгивали водой и сильно нагревали на времянке, — «фementовали», как тор-

жественно говорил Зузенко. От этого табачная смесь теряла горечь и курилась в самокрутках легко и приятно.

Зузенко даже предлагал написать вдвоем руководство по заготовке и переработке табака из педокурных папирос. Он считал, что может получиться полезная книга со вставными сюжетными новеллами. Она будет пользоваться бешеным успехом, не меньшим, чем широко известное в Америке «Руководство по ограблению почтовых поездов», изданное в Чикаго.

Зузенко читал эту книгу и уверял, что она была полна разумных советов. Шутки шутками, а такая заготовка табака при скудости нашего существования нас очень выручала.

ПТИЦЕЛОВ

В Москве три Обыденских переулка. Название этих переулков вводит людей в заблуждение. Ничего обыденного в них нет. Наоборот, переулки эти отличаются некоторыми приятными качествами. Они сбегают к Москве-реке и упираются в пустынную набережную. По обочинам этих переулков весной даже цветут одуванчики.

Из Пушкина я переехал в Москву, в Обыденский переулок, в подвал старого купеческого особняка. Окно, пробитое ниже уровня земли, выходило в сад, обнесенный высокой кирпичной стеной. Над стеной поблескивал тусклым золотом купол храма Христа Спасителя и его тяжелый крест. В то время этот храм еще не собирались сносить.

Внезапно в один туманный зимний день в Обьденском переулке появился Эдуард Багрицкий. Он впервые приехал в Москву. Прямо с вокзала его привез ко мне Гехт.

Тяжелое астматическое дыхание Багрицкого, влажное хрипение его голоса и смущенный смех сразу напомнили Одессу и редакцию «Моряка».

Багрицкий, расстегивая зеленую бекешу, сказал, как бы утверждая все, что он читал и знал до тех пор о Москве:

— Златоглавая столица! Порфиросная! Азия! Но в общем знайте, что я не буду жить у вас в грубом понимании этого слова. Нет! Я буду стоять постоем!

Он явно храбрился. Но столь же явно было, что он чувствует себя в Москве неуверенно.

Друзья просто заставили его приехать в Москву. Довольно было сиднем сидеть в Одессе, где газеты платили Багрицкому за превосходные стихи по три рубля не за строчку, а за все стихотворение целиком (или, как говорили бухгалтеры, «аккордно»).

Довольно было голодать, продавать последние вещи и мечтать о пачке махорки и «кирпиче» черного мокрого хлеба.

Сейчас же после приезда Багрицкого ко мне в подвал нахлынули одесские литературные мальчики. В то время они уже всем кланом переселились в Москву.

Мальчики расхватили у Багрицкого привезенные стихи — весь этот рокошующий черноморский рассол, все поющие строфы, пахнущие, как водоросли, растертые на ладони.

Мальчики разобрали по рукам стихи, переписан-

ные на щербатой машинке с пересохшей лентой, и ринулись разносить их по редакциям.

Сам Багрицкий этого бы не сделал никогда в жизни. Он боялся выходить на московские улицы. Он задыхался от московской желтой оттепели. Он клокотал бронхами, сидя весь день на тахте, поджав по-турецки ноги, и, отдышавшись, читал вслух «Уляляевщину» Сельвинского.

Даже сквозь закрытое окно проникал во двор его певучий, срывающийся голос и знакомые слова:

— И-и-й ехали казаки, ды и-и-й ехали казаки,—
Чубы по губам!

Багрицкий читал «Уляляевщину» каждый раз по-новому, обыгрывая своим симфоническим голосом ритмы этой поэмы или какое-нибудь одно любимое место:

Уляляев був такий: выверчено віко,
дирка в підбородці таї в ухі серьга.
Зроду не бачено такого чоловіка,
Як той батько Уляляев Серьга.

Я просил Багрицкого, чтобы он прочел мне свои стихи. Они утоляли в то время мою тоску по недавно покинутому Черному морю, по перегретому воздуху в тени одесских акаций. Но он не слушал меня и пел в каком-то самозабвении:

Гайда-гайда-гайда, гайда-гай-даларайда!..

В конце концов он сжалился и прочел мне свои стихи, но не о море, а немного печальные и светлые стихи о непобедимой молодости:

И пусть уже струится тень печали
И скорбный ветер ширится над нами, —
Наш легкий шаг еще, как прежде, строен...

Я не знал тогда, что это стихи не Багрицкого, а какого-то другого поэта. Но это обстоятельство Багрицкий, очевидно, считал, несущественным, так как ничего не сказал мне об этом.

У него были свои понятия о принадлежности поэзии тому или иному поэту. Очевидно, для него стихи, как воздух, как солнечное тепло были всеобщим достоянием.

Мне даже казалось, что, например, стихи Блока о командоре, или «Веселые нищие» Бернса, или сказание Де-Костера о Тиле Уленшигеле — все это он считал как бы написанным не только Блоком, Бернсом или Де-Костером, но и им, Багрицким. Все это принадлежало ему хотя бы по той причине, что он умел открыть в них незамеченные богатства звуков, образов, красок и очарований.

Есть байка о том, что некоторые люди могут взять в руку тугой завиток цветка и от теплоты их рук он распухнет со всей пышностью, на какую способен.

Чужие стихи как бы расцветали в руках у Багрицкого. Он был веселым феодалом государства поэзии. Он проходил по лугам этой страны, сбивая пыльцу с высоких перезревших цветов, прищурившись от солнечного света, сея богатства широкой рукой. И, может быть, к нему больше подходило слово «певец», чем «поэт».

После приезда Багрицкого я сказался больным и почти неделю не ходил на службу в РОСТА. Я пред-

почитал весь день болтать с Багрицким, готовить скудную нашу пищу и слушать стихи.

Однажды мне повезло. Я достал мороженого судака. Багрицкий решил зажарить его по «черноморско-греческому способу». Для этого понадобилось кило масла, кило чернослива и лимон. Такая трата была в то время невероятной, но я не жалел об этом.

Багрицкий засучил рукава, повязался полотенцем, придвинул к раскаленной времянке старое кресло с вылезшей из сиденья паклей (кресло я нашел в дровяном сарае), растопил на сковородке все масло и ждал, потирая руки, пока оно не пошло трещать и взрываться золотыми темными пузырями.

Тогда Багрицкий утопил в кипящем масле куски рыбы, обваленные в муке, и торжественно сказал, почти пропел жирным, наигранным голосом незнакомые стихи:

О, судаки, обваренные маслом!
От жара раскаленного времянки
Покрытые коричневым загаром!

Отсвет огня играл на смуглом средневековом лице Багрицкого. В то время он был еще худ и напоминал юпошу с потемневшей итальянской фрески.

Трещали и румянились ломтики белого судака, синеватый чад вился над сковородой, а Багрицкий плотоядно присвистывал и говорил:

— Вот сейчас вы узнаете, какая это смакатура! Нигде в Греции, даже на острове Митиленакаки, вы не сможете поесть такого судака.— Миртовая шамовка! — повторил он, когда мы ели этого действительно замечательного судака с жареным черносливом.— Пицца титанов и кариатид!

Потом мы закурили папиросы «Ира», и начались мечты. Мне они казались совершенно детскими и, конечно, нелепыми. Я относился к ним снисходительно, но в глубине души все же верил в мечты Багрицкого. Он говорил почему-то во множественном числе, но совершенно серьезно:

— Получим гонорар. Ну, сколько? Как вы думаете! На круг — тысячу рублей? Или, может, больше?

— Больше, — говорил я.

— Полторы тысячи! — восклицал Багрицкий. — Или две? — спрашивал он, испуганный собственной дерзостью, и выжидательно смотрел на меня.

— Свободно! — говорил я, небрежничая. — Очень даже свободно, что и все три. Чем черт не шутит.

— Три так три! Тогда так, — говорил Багрицкий и загибал палец на левой руке. — Одну тысячу — телеграфом в Одессу Лиде и Севе (жене и сыну). У них нет ни ложки постного масла. На другую тысячу мы покупаем на Трубе птиц. Всяких. Кроме того, на пятьсот рублей покупаем клеток и муравьиных яиц для корма. И еще канареечного семени. Самый легкий и калорийный корм для птах. Остается пятьсот рублей на дожитие в Москве и на обратную дорогу до Одессы-мамы.

Мечты эти каждый день менялись, но не очень значительно. То прибавлялись книги и за этот счет одесская тысяча сокращалась до семисот рублей, то возникало духовое ружье.

Багрицкий развлекался этими мифическими подсчетами. Я вместе с ним втянулся в игру. Меня только смущала сумма в 500 рублей, предназначенная на муравьиные яйца и канареечное семя.

Я представлял себе навалы, целые Чатырдаги яиц. Их, по словам Багрицкого, надо было хранить очень умело, в точной температуре. Иначе в один прекрасный день все эти яйца могут превратиться в рыжих злых муравьев. Они разбегутся и за полчаса вынесут из дома до последней крупинки весь сахарный песок.

Я считал, что пятисот рублей на муравьиные яйца, пожалуй, много.

— Пусть много, — соглашался Багрицкий. — Но вы представляете, что будет с одесскими птичниками и птицеловами? Или с тем подлым стариком, который продавал мне на Привозе муравьиные яйца чуть не по штукам и выжимал из меня последние соки? Посмотрю я теперь на этого старика!

В это время пришел один из одесских литературных мальчиков по имени Сема. Он оторопел от безумных планов Багрицкого. Выражение ужаса появилось у него на лице. Посидев пять минут, Сема просто сбежал.

Багрицкий много рассказывал мне о своих одесских птицах. Но я знал это сам. Я был однажды у него на Степовой улице и помню сплошной треск, щебет, свист и чириканье в клетках, повешенных высоко под потолком. Брызги воды летели на головы из клеток, где птицы мылись в цинковых мисках, трепеща крыльями.

По словам Багрицкого, все это были самые редкие и самые дорогие птицы, хотя выглядели они затрапезно и довольно жалко.

Он покупал их на окраинных базарах, ловил в степи за Фонтаном, выменивал на соль и табак.

У него были паутинные сети для ловли птиц и разнообразные дудочки и манки.

Ловля птиц сетями — очень тонкое дело. Птицелов должен знать не только голоса и повадки птиц, но и обладать еще мастерством декоратора. Выбрав гладкое место, похожее на маленький ток, он насыпал по нему пшено или крошки хлеба, растягивал над током на высоких колышках сеть, маскировал ее травой (бурьяном и цветами), пускал на ток какого-нибудь ручного предателя — щегла или чижа, привязанного леской за лапку к колышку, и прятался вблизи.

Предатель прыгал на току, клевал зерна, щебетал, обманывал вольных птиц, и они бесстрашно слетали на ток. Тогда птицелов, неподвижно лежавший за укрытием, дергал за бичевку, сеть падала и накрывала несчастных птах.

Но мечты — мечтами, а за стеной подвала в редакциях и издательствах Москвы происходило нечто, казавшееся Багрицкому чудом.

Стихи Багрицкого газеты и журналы брали на расхват. Издательства начали заключать с ним договоры на книги и платить авансы. Мальчишки, нагруженные доверенностями от Багрицкого, приносили в подвал деньги. Они тщательно пересчитывали их и записывали итог на стене около времянки.

Багрицкий денег не считал. Он только посматривал на цифры на стене и говорил:

— А птичий счет меж тем невидимо растет! Мы сможем купить на эти деньги еще и справный парус-

но-моторный дубок. Назовем его по традиции «Дуся» и будем возить на нем из Херсона в Одессу через Днепровско-Бугский лиман лучшие монастырские кавуны. Почернеем, как черти. Вы имеете понятие о лиманном загаре? Это — лучший в мире загар. Цвета коньяка с золотом. Он образуется не только от солнца, но и от его отражений в тихой лиманной воде. На лиманах много штпелей. Жар от солнечного отражения такой же палящий, как и от прямого солнечного луча. Он качается и слепит, этот жар.

Иной раз незначительные услышанные как бы мимоходом слова западают в душу и начинают мучить человека чем дальше, тем больше. Так случилось со словами Багрицкого об особенном, слепящем солнечном блеске лиманов, — обширных, неглубоких, с зеленоватой чистой водой и низкими полынными берегами.

С тех пор желание увидеть лиманы и пожить на их берегах прибавилось ко многим другим, столь же практически бесполезным желаниям, наполнявшим мою жизнь.

В первое же лето после этого разговора с Багрицким я уехал в Херсон и на Днепровско-Бугский лиман.

Об этих местах, напитанных запахом чируса и жаркой древности, я напишу отдельно. Даже веноч названий, связанных с этим лиманом, волновал меня, — все эти Кинбурны, Ольвии, Очаковы, Тендры, Березани, Ингулы и Ягорлыки.

Названия были, как жестковатые степные цветы, как сухие букеты из репейника. Букеты эти пахли сами по себе горьковато и сладко и вместе

с тем пропитывались запахом беленых мелом рыбацких лачуг. На их стенах эти букеты висели на ржавых гвоздиках целый год,— от одной весны до другой.

Неисповедимыми путями русская поэтическая мысль время от времени приближалась к лиманным берегам, селениям и водам: «Однако, как свежо Очаков дан у Данта», «Тонет белый парус на лимане, много он видал морей и рек».

Здесь из этой пережженной земли хлебобобы выпаживали иной раз звонкие эллинские вазы. На рисунках этих ваз черноморский ветер, дувший тысячи лет назад, развевал легкие подолы эллинских женщин. Каждая из этих женщин казалась мне Ифигенией, умершей здесь в изгнании.

Чем дальше по времени был умерший человек, тем он становился более живым и в конце концов делался действительно бессмертным.

Недавно я был летом на другом лимане — Днестровском. К глинистым его откосам нельзя было прикоснуться рукой: так они были раскалены, но за Пересыпью разливалось по пескам прохладой и пеной зернисто-зеленое море.

Теплое вино в лавчонках села Шабо мutilo голову. Уютный, будто построенный в бесконечно мирные времена городок Аккерман (Белгород-Днестровский) задыхался от цветущего табака и лиловой матиолы. Рыбачьи лодки уходили на веслах в лиман за бычками и глоссой. На базаре продавали самотканые шерстяные ковры с такими пылающими розами и бешено-зелеными виноградными листьями, что покупатель брала оторопь.

Там же, на базаре, над корзинами с виноградом и сливами звенели на одной высокой ноте перетянутые в талии осы, и старик в черных очках говорил доверительно:

— Покупайте сливы-мирабельки. Чистая глюкоза! Покупайте и кушайте себе на здоровье в холодке под акацией. Очень укрепляет кровеносные сосуды!

Городок весь целиком был погружен в густейшую тень садов, будто над ним протянули зеленый прохладный брезент. А за резкой чертой этого брезента плавился на солнце лиман, испепеляя лица и шеи.

Об этих лиманных водах я впервые услышал от Багрицкого. Он сказал о них вскользь, может быть, не придавая своим словам никакого значения, кроме шутливого. Но мимолетный образ лиманной воды упал, очевидно, на благодатную почву в мое сознание, стремившееся изучить в природе все, что замечено вскользь и о чем говорится почти всегда мимоходом.

Каждый день, по мере того как цифра гонорара на стене у времянки росла, мечты Багрицкого усложнялись. Ему уже мало было дубков и муравьиных яиц. Он мечтал о путешествиях и говорил о них, задыхаясь. Чтобы успокоить одышку, он курил астматол. Тогда в подвале пахло горелой травой и валерьянкой.

Багрицкий стремительно завоевал Москву. Успех его стихов был бурным и всеобщим. По вечерам в подвале уже трудно было дышать от обилия людей и папиросного дыма.

Как всегда, неожиданный успех принес с собой

беспокойство. Он казался преувеличенным и шатким. Багрицкого мучили дурные предчувствия. Он начал поговаривать, что литературные мальчишки перестарались, что в недрах редакций наверняка уже лежат разгромные статьи об его стихах, и, как большинство статей такого рода, они написаны нагло и фамильярно.

Он клялся, что его будут обвинять в «гнилом индивидуализме», имитаторстве и назовут «вертлявым гимназистом».

С немногими критиками, появившимися в подвале, Багрицкий держал себя настороженно. Но явно раздражал его только один из них, человек навязчивый и развязный, который всю поэзию нашего юга называл «повидлом из баклажан».

Уже тогда Багрицкого угнетало то обстоятельство, что чужие люди назойливо лезли к нему и советовали любить то, чего он не любил, и отрицать то, к чему он тянулся с самого детства. Впервые тоном приговора было произнесено по отношению к нему слово «романтик», но с оговоркой, что он заслуживает снисхождения.

Но все это меркнет перед тем, что произошло уже после смерти Багрицкого, в послевоенные годы, когда раздались нелепые обвинения, будто Багрицкий глумится над украинским народом.

Это было глупо и неверно: ведь каждая строка «Думы про Опанаса» исполнена любви к Украине, к ее поэзии, к Шевченко.

Оружием Багрицкого, кроме его подлинной поэзии, было еще острое слово. Он отбивался им, как рапирой, от надоедливых учителей. Под выдержкой и

благодущием он скрывал порой жестокий сарказм. Но к нему он прибегал только ради достоинства и вольности стихов.

В то время я только что окончил повесть под нарядным названием «Пыль земли Фарсистанской».

Название это казалось мне очень заманчивым, хотя было неправильным. Дело в том, что действие повести происходило на крайнем севере Персии (я там был очень недолго), а Фарсистаном называется как раз южная часть страны. Там я никогда не был. Но звучность этого слова — «Фарсистан» — так мне понравилась, что я пренебрег точностью и сдвинул название с юга на север. Я успокаивал себя тем, что персидский язык называется «фарси» и потому все области страны, где говорят на этом языке, можно называть Фарсистаном.

О повести этой узнал Бабель и попросил, чтобы я дал ему прочесть ее. Сначала я здорово испугался и начал уверять Бабеля, что повесть еще не окончена. Но Бабель был неумолим.

— Через два дня, — сказал он, — я приду, и чтобы повесть к тому времени лежала вот тут на столе, как миленькая.

И он постучал ладонью по краю стола, который Багрицкий прозвал «обломком империи».

Стол действительно был ветхий, из черного дерева, с бывшей перламутровой инкрустацией. Ее, очевидно, долго и настойчиво выковыривали дети нескольких поколений. От инкрустации остались только осколки.

Потом Бабель долго, посмеиваясь, изучал на стене около времянки запись полученного гонорара и даже выписал итог на листке бумаги.

— Я рад за вас, Эдя,— сказал он,— Лида, наконец, вздохнет. Вы поживете спокойно и навверняка напишите чудную поэму.

Когда Бабель ушел, Багрицкий произнес зловещим голосом:

— Подходит беда! У него мертвая хватка и дыхание бенгальского тигра. Так что лучше положите рукопись на стол сейчас же. Чтобы она всегда была на месте, если он придет без вас. Иначе он вынет из вас душу.

— За что?

— Откуда я знаю, за что? И как бы он и из меня тоже не вынул душу.

— А у вас за что?

— Вы видели, что он списал со стены цифры?

— Он списал только итог.

— А зачем! Не знаете? Вот то-то! Никогда нельзя догадаться, что думает этот человек. Кошмарный характер!

Бабель пришел, как обещал,— ровно через два дня.

Пока он тщательно протирал запотевшие очки и близоруко рассматривал их, Багрицкий спустил ноги с тахты и застегнул гимнастерку.

Бабель сел на стул против Багрицкого и начал смотреть на него смсующимися глазами. Багрицкий заерзал и отвернулся.

— Не нервничайте, Эдя! — сказал Бабель. — Нервничать будете, когда я уйду.

— А чего мне нервничать? Я всегда рад вас видеть, Исаак Эммануилович.

— Смотря при каких обстоятельствах,— ответил

Бабель, все так же пристально и весело глядя на Багрицкого.

Багрицкий молчал. В коридоре дефективная соседская девочка стояла у телефона и, держа трубку вверх ногами, без конца повторяла:

— Я слушаю, слушаю, слушаю...

Так она могла повторять до ста и до двухсот раз, пока кто-нибудь не высовывался в коридор и не кричал:

— Положи немедленно трубку!

Родители дали этой девочке роскошное имя Эволюция. Но потом они спохватились, отсекли начало имени, и девочка навсегда осталась Люцией.

Во всяком случае вечное жалобное бормотание Люции «Я слушаю, слушаю, слушаю», придавало жизни в подвале несколько зловещий оттенок.

— Итак, Эдя,— сказал, наконец, Бабель,— что вы собираетесь делать?

Багрицкий продолжал молчать. За дверью бормотала, как заведенная, Люция.

— Конечно,— промолвил с грустью Бабель,— вас хватит на то, чтобы купить на весь гонорар вагон канареечного семени в Кишиневе и засеять им Дюковский сад.

— А что ж тут такого? — с осторожным вызовом спросил Багрицкий.— Между нами говоря, в Кишиневе канареечного семени нет. Им торгуют только Москва и Калуга.

— А то тут такого,— ответил Бабель,— что доставайте все деньги и выкладывайте на это место!

Бабель постучал ладонью по «обломку империи».

— Ну, хорошо. А что же будет дальше? — уже робея, осведомился Багрицкий.

— Дальше будет изъ-я-ти-с некоторых сумм, — внятно ответил Бабель. — На предмет отсылки Лиде в Одессу.

— Это очень мило с вашей стороны, — вежливо сказал Багрицкий, что вы так печетесь о моем семействе. Но деньги в Одессу я переведу сегодня же собственной рукой. А этому пасквилянту Семе я — тоже собственноручно — набью морду. Это он накапал вам, что я хочу на две тысячи рублей купить певчих птиц и завалить весь Привоз в Одессе конопляным семенем. Вы же самый проищательный человек на свете, Исаак Эммануилович, а попались на удочку Семе — стопроцентному вралю и мишуресу.

Кстати говоря, Сема не был ни вралем, ни нахалом. То был хилый веснушчатый юноша с плохим воображением. Поэтому он принимал за чистую монету все наши разговоры, пугался, тотчас бежал предупредить кого-нибудь из знакомых и вызывал бессмысленное смятение.

— Стопроцентных вралей не бывает, — убежденно ответил Бабель. — Даже Марк Твен не был абсолютным вралем. Он хорошо понимал это дело, но иной раз тоже давал слабину. Из современных писателей никто не умеет врать по-настоящему. Вдохновенно, возвышенно, смешно или красиво. Искусство вранья скоро будет потеряно. Что вы хотите, когда семилетние мальчики уже обыгрывают в шахматы Капабланку и понимают схему детекторного приемника. А ваш Сема врет только впятеро, не больше.

— Допустим, — согласился Багрицкий.

— Если так, то вы, Эдя, худо-бедно, а решили истратить на птиц не две тысячи рублей, а скажем, впятеро меньше — четыреста рублей.

— Верно! — подтвердил Багрицкий.

— Этого нельзя допустить, — сказал ледяным голосом Бабель. — Ни в коем случае. Хватит с вас двухсот рублей. Я даю вам настоящую цену.

— Последняя цена, — сказал Багрицкий. — Четыреста рублей, и ни копейки меньше!

Он хлопнул ладонью по «обломку империи».

— Что вы такое говорите, Эдя? — воскликнул Бабель тоном перекупщика. — Побойтесь бога! Четыреста рублей! Какой кретин даст вам четыреста рублей!

И Бабель в свою очередь ударил ладонью по «обломку империи».

— Триста рублей — и кончим этот разговор!

Началась игра. Бабель придумал ее молниеносно, на ходу, чтобы выйти из неловкого положения, в какое попал.

Он перевел неприятный разговор в шутку. Багрицкий подхватил эту шутку. Она была очень сейчас кстати. Она спасла Бабеля от открытой ссоры с Багрицким.

Шутка спасла положение. Но этого показалось мало, чтобы загладить неловкость. И, как всегда в таких случаях, люди, стремясь переменить разговор, бросились на первое, что им попало под руку. К несчастью, под руку попала моя рукопись «Пыль земли Фарсистанской».

Я мужественно принял на себя по поводу этой рукописи залп вопросов и замечаний, наспех придуманных Бабелем и Багрицким.

Наконец Бабель забрал мою рукопись, и мы вышли все вместе. Багрицкий пошел на почту отправлять деньги в Одессу, я пошел проводить его, а Бабель, подмигнув мне, деликатно исчез.

В одно хмурое предвесеннее утро (в подвале все утра казались хмурыми) Багрицкий встал, шумно выдохнул воздух и сказал:

— Постой! прекращается! Послезавтра я еду в Одессу.

Он радовался возвращению в Одессу, как ребенок. Его бронхам не хватало черноморской соли. В Москве он задыхался все сильнее, но не жаловался. Чем хуже ему было, тем чаще он шутил над собой.

Просыпаясь среди ночи, я видел, как он, сидя на тахте и обхватив колени руками, тяжело, со свистом кашлял и потом долго ловил воздух судорожно открытым ртом.

Я вставал, сворачивал фунтик из бумаги, насыпал в него какую-то сушеную траву и селитру, клал на тарелку и поджигал все это. Потом я кипятил на времянке чай. Горячий чай и едкий дым одинаково успокаивали Багрицкого и помогали ему, как он говорил, «раздышаться».

Он долго не мог уснуть (спал он полусидя), и после каждого такого ночного чая у нас начинался разговор до утра.

Однажды Багрицкий сказал мне, что астма — это типичная болезнь еврейской бедноты, еврейских местечек, зажатых и тесных квартир, пропитанных запахом лука, сухого перца и какой-то едкой кислоты. У нее, у этой кислоты, не было названия. Она, по сло-

вам Багрицкого, самозарождалась в воздухе жалких ремесленных мастерских и пахла так же мерзко, как муравьиный спирт. Ею пропитывалось до самого корня все — заплатанные сюртуки стариков, рыжие парики старух, вся шаткая мебель, все пышные и душистые подушки в розовых мутных паперниках, вся еда. Даже чай отдавал этой кислотой, будто окисью медного самовара.

Багрицкий говорил, что как только он попадал в этот ремесленный чад, вдыхал запах кожи, колена кора и паяльных ламп, у него начиналась жестокая астма.

Проходила она начисто только в теплые приморские дни, когда рука, опущенная в морскую воду, не ощущала холода и можно было часами лежать грудью на раскаленных массивах рейдового мола и прогреваться насквозь — сверху солнцем, а снизу жаром ракушечника.

Он с тоской говорил о тех мельчайших приметах безмятежного одесского лета, какие всегда вызывают широкое счастливое состояние.

Он звал меня приехать летом в Одессу, обещал сводить на Сухой лиман и в замечательный рыбацкий поселок Каролино-Бугаз, где-то около Днестровского лимана. Я поехал летом в Одессу (об этом я расскажу позже) и все это видел.

Но вскоре Багрицкий совсем переехал в Москву и поселился в Кунцеве, среди сыроватых и довольно унылых дачных участков и низкорослых берез.

Я всегда считал его переезд на север ошибкой, но не решался говорить об этом ни его родным, ни друзьям.

Я считал это ошибкой потому, что нельзя отрывать поэта от его жизненных корней, от сложного соединения простых и милых для него явлений. Из них неведомыми путями рождалась поэзия. Вернее, рождался подтекст его поэзии — тот вначале неуловимый слухом ультразвук, который рано или поздно пробивал оболочку немоты, и появлялся рядом с нами — печальный, радостный, торжественный.

Я бывал у Багрицкого в Кунцеве и все время чувствовал досаду и стеснение. Как большая нахохленная птица, он сидел все так же на тахте, поджав турецки ноги, как сидел в моем сыром подвале в Обыденском переулке.

Сидел и все шутил, все смеялся, хотя в глазах его временами появлялась пристальная тоска по степным шляхам, уходящим в туманные закаты, по веселому бегу наперегонки бесчисленных волн у пляжей, по мельканию солнца в виноградной листве и по обильно политым ранним утром одесским улицам.

И, конечно, по утреннему свисту птиц, гнездившихся в обрывах морского берега под корнями тамариска и акации.

НЕЛЕГКОЕ ДЕЛО

Со времени работы в РОСТА я начал упорно обороняться от всего, что могло засорить тот внутренний мир, который я носил в себе и пытался передать другим.

Больше всего я боялся заразиться стертым и беспомощным языком. Он безжалостно и быстро распространялся в те годы.

То обстоятельство, что я почти бессознательно забывал уродства языка, очевидно, и дало мне в дальнейшем возможность стать в какой-то мере писателем.

Отвращение к исковерканному языку накапливалось давно и перешло в ненависть к нему.

Ко многим словам, таким, как «поприветствовать», «боевитый» (их можно привести много), я чувствовал такую же ненависть, как к хулиганам. И не только потому, что они идут вразрез с характером русского языка, но еще и потому, что в них выражалось невежество и отсутствие национальных качеств.

Язык всегда должен быть под стать стране. Он должен определять ее лицо, ее красоту, ее характер с такой же наглядностью, как определяет все эти качества самый пейзаж страны, как это определяет какой-нибудь изволок, уходящий в вечеряющий туман над милой до сердцебиения рекой. Многого не надо, чтобы догадаться, что ты в России. Достаточно увидеть, как синицы стряхивают на землю лимонные листья с прибрежных осин.

Возможно, что я отношусь к языку с преувеличенной строгостью и благоговением. Но иначе и не может быть. Иначе следовало бы заняться счетоводством или еще чем-нибудь в этом роде.

Русский язык существует подобно своду величайшей поэзии, столь же неожиданно богатой и чистой, как полыхание звездного неба над лесистыми пустошами.

Во время работы в РОСТА у меня уже было напечатано несколько рассказов, большей частью

написанных наспех. Писал я их за один-два вечера и относился к ним довольно легкомысленно.

Рассказы эти были данью моему детству, главным образом тому туманному восхищению морем и моряками, которое завладело мной еще в Киеве, когда я впервые встретил в Мариинском парке гардемарина с корабля «Азимут».

Правда, была уже вчерне написана повесть «Романтики». Но я считал ее еще недостойной печатания. Она лежала у меня без движения много лет,— так долго, что рукопись обветшала и пожелтела.

Более или менее удачные отдельные строчки и мысли были разбросаны по разным рассказам и терялись в них.

Я знал, что подлинный писатель должен быть в своем деле ясным, естественным, должен с полной силой и смелостью выражать свое отношение к жизни и людям. Тут отдельными хорошими местами не отделаешься. Да я и не очень верил в эти свои хорошие места. Сгоряча они мне нравились, но быстро приедались и казались безжизненными. Я даже начинал стыдиться их.

Но не это главным образом тревожило меня в первые годы. Работа над языком и первые удачи— все это было как бы в порядке вещей. Хуже всего были полуудачи. Ими я начал постепенно считать, как сказано выше, почти все свои первые рассказы.

Нет ничего более неприятного, чем забитый в стену и согнутый гвоздь. Ему не доверяешь.

Мои полуудачные рассказы были чем-то необъяснимо похожи на собрание то сильно, то чуть заметно согнутых гвоздей. Исправлять их не было смысла,—

давно известно, что как ни выправляй гвоздь, он все равно останется хоть и немного, а кривым.

Так и рассказы. Есть рассказы хорошо написанные, но внутри пустые, как съеденное червями яблоко. Пустые потому, что они выдуманы или, что вернее, придуманы, что от живой жизни в них присутствует всего только несколько крох, а все остальное набрано отовсюду и наспех связано непрочными нитями. Они вот-вот оборвутся, и рассказ развалится на куски.

Такое ощущение все чаще оставалось у меня от моих вещей. Это меня удручало.

Каждый раз я садился писать новый рассказ с твердым решением быть беспощадным к себе и не уходить от подлинности в мир искусственных вещей. Но каждый раз какая-то слепая внутренняя инерция понуждала меня идти по линии наименьшего сопротивления, брать внешний сюжет и уступать своей склонности к необычным положениям, людям и обстановке.

Перечитывая только что написанный рассказ, какую-нибудь «Королеву голландскую», «Черные сети» или «Разговор во время ливня», я замечал, что он сделан хотя и из добротных, но все же из отходов: какого-нибудь любимого мною в то время писателя, в частности, из отходов Джозефа Конрада (на что мне впервые указал Бабель). Но, в общем, рассказ «держался», читать его было порой легко и даже интересно, и это давало мне ложное успокоение.

«В чем же дело? — спрашивал я себя. — Почему у меня не подымается рука перечеркнуть все это и выбросить в корзину?»

Пока я писал новый рассказ, все было как будто хорошо, но потом, особенно по ночам, вспоминая его, я не мог уснуть, находил в нем много скороспелого и проклинал себя за то, что дал его в печать.

Пока что я печатался главным образом в газетах. Газеты требовали срочных рассказов!

С тех пор у меня остался страх перед быстрым печатанием.

Так сам по себе получил силу закон — не печатать вещей, не дав им отстояться, пока не осядет, как в растворе, осадок, а влага не заиграет своей кристаллической чистотой. Этот элементарный закон подтверждался опытом многих писателей.

Я понял слова Пушкина об усовершенствовании любимых дум. Всего в четырех словах был дан изумительно ясный и четкий совет, или, пожалуй, приказ для пишущих.

Так началась борьба за то, чтобы все, что пишешь, исходило из подлинности, борьба за неразрывное слияние этой подлинности со свободным воображением.

И здесь появился, помимо Бабеля, новый учитель — Михаил Михайлович Пришвин. Я прочел его рассказ «Башмаки» о холодных сапожниках-«волчках» из Марьиной Рощи, пытавшихся сделать туфли для женщины будущего.

Весь этот рассказ был основан на совершеннейшей реальности, даже на быте, но вместе с тем он подчинялся легкому вымыслу.

Так для меня родился второй закон: рассказ о жизни в любых ее событиях и человеке в любых его качествах становится настоящим искусством, ког-

да он связан с реальным опытом и вместе с тем с воображением и вдохновением.

Я был уверен, что нашел правильный путь в тот всегда прекрасный для меня, тяжкий труд писателя, о каком я так давно и бесплодно мечтал. Нашел я его почти инстинктивно, так как никогда не был способен к долгим и последовательным размышлениям.

Путь был найден и привел меня к первой моей, как говорили друзья, «настоящей» книге — «Кара-Бугазу».

ЛЕСОВИК

За Пришвиным я долго следил издали; боясь встретиться с ним, с этим, как мне казалось, знахарем и мудрецом. От него как бы пахло талой водой, едким соком дягиля, лесной прелестью, вечерней зарей над болотами.

Он всегда где-то скрывался, в каких-то российских гуцах; как мужичок-лесовик, неслыханно лукавый и до того проищательный, что ни одна птичья хитрость не могла от него ускользнуть.

Потом мы встретились, но близко не сошлись. Он обладал тем качеством, которое не всегда помогает сближению — своим особым и порой невнятным для окружающих языком для выражения своих совсем особых мыслей.

Что-то в нем было от старого цыгана, не только в наружности, но и в том вольном знании страны, что свойственно прирожденным бродягам.

Однажды Пришвин сказал мне, что все напечатанное им — сущие пустяки по сравнению с его днев-

ником, с его ежедневными записями. Он вел их всю жизнь. Эти записи он главным образом и хотел сохранить для потомства.

После смерти Пришвина часть этих записей была опубликована. Судя по ним, это был труд поразительный и огромный, полный поэтической мысли и неожиданных коротких наблюдений, — таких, что другому писателю двух-трех строчек Пришвина из этого дневника хватило бы, если их расширить, на целую книгу.

Если в литературе есть подтекст — второе значение вещей, вторичное их видение, отражающее, как эхо, основной звук и укрепляющее его в нашем сознании, — то Пришвин открыл подтекст в русской природе.

Тайна этого подтекста состояла в том, что его личное, очень интимное ощущение от мелколесья, зверей, облаков, рек, глухих чапыг и вторичного цветения какой-нибудь облепихи сливалось с природой и давало ей особенный, пришвинский облик.

Пришвин сам существовал как явление русской природы.

Он был владельцем нашей земли по праву любви к ней, по праву знания, и, как все владельцы, был немного собственником, но в особенном значении этого слова.

Он жалел и охранял землю как собственник, но не для себя, а для искусства и для поколений. Охранял потому, что знал облагораживающую силу девственной земли.

Он хотел сохранить для людей хотя бы обрывки этой первозданной земли, чтобы человек мог дышать

воздухом нетронутых уголков и видеть ту ее свежесть, какая быстро тускнеет и жухнет под слоями пыли и дыма.

Поэтому он очень сердился на меня за то, что я написал книгу «Мещерская сторона» и тем самым привлек к Мещерским лесам пристальное и губительное (к сожалению) внимание людей с его неизбежными тяжкими последствиями — толпами туристов, истоптавшими вконец эти свежие некогда места, и бригадами людей практических, тотчас же начавших приспособлять этот край к извлечению из него наибольшей выгоды.

— Вы знаете, что вы наделали своими восторгami перед Мещерой! — сказал он мне с укором и осуждением, как неосторожному мальчику. — В вашей тихой Солотче уже строят сотни дач для жителей Рязани. Пойдите-ка теперь в луга и найдите хоть один цветущий шпорник. Поищите! Черта с два вы его найдете! Красоту только тропь небрежной рукой, — она исчезнет навеки. Современники, может быть, и будут вам благодарны, а дети ваших детей вряд ли за это поклонятся. А сколько в этой самой Мещере было сил для развития высокого народного духа, народной поэзии! Неосмотрительный вы человек, милый мой. Не сберегли свое Берендеево царство.

Да, шпорник теперь в Мещере, пожалуй, и днем с огнем не найдешь.

«Днем с огнем» — какие хорошие слова. Для детей. Потому что только ребенок может поверить, что по зарослям бродят днем какие-то чудачки и светят сильными фонарями в гущу трав, чтобы в их укром-

ной тени найти синий — втрое более яркий и темный, чем небо, — цветок.

Сначала я был ошеломлен гневом Пришвина. И даже чуть возмущен. Все, мол, для себя, ничего для людей. Что хорошего и достойного в том, чтобы прятать от них красоту?

Но вскоре я убедился, что Михаил Михалыч говорил так, заботясь о благе людей, о том, чтобы их жизнь не была обездолена. Он думал далеко вперед, мы же привыкли думать о сегодняшнем дне, — в этом заключается наше себялюбие.

МЕДНЫЕ ПОДКОВКИ

Маяковский лежал на низком помосте в зале Дома писателей. Дом этот стоял в глубине двора, в зарослях сирени. Говорили, что этот старый особняк Толстой описал в «Войне и мире» как дом Ростовых.

Окна в зале были открыты. Манерную статую Венеры Медицейской в вестибюле закрыли черным покрывалом. Из-под него виднелось ее мраморное холодное колено.

Маяковский лежал на помосте в гробу, будто в каменном саркофаге, — тяжелый, большой, не переставший думать. Лежал ногами к входу и к людям, толпившимся около гроба. Поэтому прежде всего были видны его прочные ботинки с медными подковками на каблуках. Подковки блестели в луче солнца и были сильно стерты.

Поэт ходил по земле широко и немного небрежно. Медь быстро стиралась от такой ходьбы.

Должно быть, у многих появилась тогда мысль, что эти грошовые подковки не истлеют никогда, тогда как прах поэта исчезнет. А ведь людям были нужны не только его стихи, но и он сам — живой и гремящий.

Небывало теплый апрель стоял в Москве в год его смерти. От сырой земли в палисаднике за окнами подымался пар. Он шевелил прошлогодние палье листья.

Листья были черные, пахли кисловатым вином. Из них нельзя было сплести венок поэту.

Кто-то положил вместо венка несколько таких листьев в гроб к его ногам. Они не потерялись среди оранжерейных хризантем и гвоздик, среди атласных траурных лент, веток туи и скипидарной елочной хвои.

Листья лежали там по праву. Один из них прилип к подошве Маяковского и вместе с ним сгорел потом в невыносимом пламени погребения.

Самое трудное в смерти для тех, кто остался жить дальше, заключается в том, что они не успели сказать умершему то главное, что чувствовали и думали о нем. Любящие, как всегда, опоздали. Непонятная застенчивость сжимала им губы. И теперь он, конечно, никогда не узнает, как бескорыстна была их любовь. Может быть, она могла спасти его?

А он молчал перед смертью и ни перед кем не выговорил свое последнее горе. Он лежал, чуть нахмураясь, никому не сказав о тех обидах и болях, какие жизнь нанесла ему — сильному духом и уверенному в себе поэту.

Да, он наступил на горло собственной песне. Он

совершил подвиг поэтического самопожертвования ради блага своей страны и народа.

Он был чернорабочим, агитатором, бойцом. На его плечи легла задача привить революцию каждодневной человеческой жизни. Мягкость была не к месту.

Вокруг было слишком много слякочества. Надо было бичевать бездарность, глупость, тугие мозги и затылки. Надо было кричать на людей, чтобы они опомнились и вылезли из своих тепловатых гнезд.

Надо было просто выгонять людей из этих гнезд на резкий и холодный ветер революции, особенно поэтов.

Недаром в 1921 году он написал:

Подернулась тиной советская мешанина.

И вылезло

из-за спины РСФСР

мурло

мещанина...

Он писал свои стихи, как молотобоец, — засучив рукава.

Есенин сказал, что «в этой жизни умирать не ново, но и жить, конечно, не новей».

Безнадежность этих слов казалась Маяковскому возмутительной. Но прошло всего пять лет со смерти Есенина — и он сам позвал к себе смерть и полностью рассчитался с жизнью.

Зачем? Кто знает?

Его песли по улице Воровского, по улице иностранных посольств. Флаги над посольствами были приспущены. Даже недруги отдавали должное его поэтической мощи, его прямолинейности трибуна, его политическому темпераменту.

Раз он умер, то они, очевидно, успокоились и перестали придавать значение разящей силе его слов. Они просто не знали, что сплошь и рядом слово чем дальше, тем становится грозней. Его не обезвредишь, даже утопив на дне океана, как пытаются обезвреживать отходы атомного производства. Оно все время будет прорывать благополучную пленку жизни и взрываться то тут, то там.

Я почти не знал Маяковского.

После возвращения из скитаний по югу в Москву, я целый год прожил в Пушкине по Северной дороге. Об этом я уже писал. За моей дачей глухо стоял сосновый лес, а за ним тянулась болотистая низина и разливалась речка Серебрянка, всегда затянутая туманом.

Всю зиму я прожил на этой даче один, а летом в ней поселился Асеев с женой и ее веселыми сестрами-украинками. Потом добрейший Семен Гехт (сестры произносили его фамилию «Хехт») снял пустой чердак, где по ночам спали хозяйские козы, и началась шумная и вольная дачная жизнь.

Маяковский жил в то время на Акуловой горе и часто приходил к Асееву играть в шахматы.

Он шел через лес, широко шагая, вертя в руке палку, вырезанную из орешника.

Он показался мне угрюмым. Я старался не попадаться ему на глаза. Я был излишне застенчив. Мне казалось, что Маяковскому просто неинтересно разговаривать со мной.

Что я мог сказать ему нового и значительного? Все уже сказано, вся мировая культура изучена им

и перемыта в острых и остроумных спорах. Я это знал потому, что из комнаты Асеева до меня долетали все разговоры.

Однажды, когда Асеев уехал в Москву, Маяковский постучал ко мне и предложил сыграть в шахматы. Я играл плохо. У меня не было способности предвидеть игру за несколько ходов вперед. Но я согласился, и мы пошли к Асееву.

Там сидела на тахте, подобрав ноги, жена Асеева Оксана с золотыми распущенными волосами. Мне очень нравились стихи Асеева, посвященные ей:

Оксана, жемчужина мира,
Со дна Малороссии вырыл
И в песни оправил тебя...

Стихи эти по первой сокращенной строке назывались «Окжемир». Так же звали и Оксану.

Окжемир сказала, что ее тошнит от вида мужчин, нахохленных над шахматной доской. Маяковский только хмыкнул, а я промолчал.

Надо было о чем-нибудь говорить. С каждой минутой молчание становилось все тягостнее. У меня в голове носились обрывки всяких, преимущественно глупых мыслей. Я не мог ничего придумать, чтобы начать разговор.

Маяковский молчал, зажав папиросу в углу рта, и смотрел на доску. Почему-то молчала и Окжемир. Тогда в полном отчаянии я заговорил о ловле раков в реке Серебрянке. Там действительно водились огромные раки — настоящие речные крокодилы.

— Нудное дело, — сказал Маяковский. — Не понимаю, как можно заниматься такой ерундистикой!

Я покраснел и до конца партии не мог вымолвить ни слова. На мое счастье пришел Асеев, и я сбежал к себе.

С тех пор я начал бояться знаменитых людей и боюсь их до сих пор. Я всегда чувствую себя свободно и спокойно только в обществе людей самых простых.

Среди писателей таких людей не так уж много. Правда, очень прост и доброжелателен был Ильф, прост и печален был Андрей Платонов.

Когда мне впервые попал в руки один из рассказов Платонова и я прочел фразу: «Тихо было в уездной России» — у меня сжалось горло, — так это было хорошо.

Платонова почти не печатали. Если в редких случаях где-нибудь появлялся его рассказ, на него обрушивали горы вздорных обвинений.

У Платонова есть маленький рассказ «Июльская гроза». Ничего более ясного, классического и побеждающего своей прелестью я, пожалуй, не знаю в современной нашей литературе. Только человек, для которого Россия была его вторым существом, как изученный до последнего гвоздя отчий дом, мог написать о ней с такой горечью и сердечностью.

Он тяжело болел, плевал кровью, месяцами лежал без движения, но ни разу не погрешил против своей писательской совести.

В первые годы революции умами и сердцами молодежи владели Маяковский и Сергей Есенин.

Мне так и не удалось узнать Есенина в жизни, — я вернулся в Москву незадолго до его смерти.

Впервые я увидел Есенина в гробу в Доме журналистов на Никитском бульваре. Поперек бульвара протянули черное траурное полотнище. На нем белыми буквами было написано: «Тело великого национального поэта покоится здесь».

День был темный, с низкими неподвижными тучами, с хмурой тишиной. В такие дни в домах раньше времени зажигают лампы. Свет их похож на желток.

В зале, где лежал Есенин, горели люстры. В их неярком свете лицо Есенина казалось прекрасным. Красоту его выделяли густые тени от ресниц.

Он лежал, как уснувший мальчик. Звуки женских рыданий казались слишком громкими и неуместными — они могли его разбудить. А будить его было нельзя, — так безмятежно и крепко он спал, намаявшись в житейской бестолочи, в беспорядке своей быстрой славы, в тоске по своей рязанской земле.

Много позже, в 1960 году я увидел фотографию Есенина, только что вынутого из петли. Он лежал на боку, на диване, подобрал колени, и все лицо его было в слезах. Они еще не успели высохнуть.

Такая детская обида была на этом лице, что никто не мог смотреть на эту фотографию. Все отворачивались и отходили, пряча глаза.

Есенину я обязан многим. Он научил меня видеть небогатую и просторную рязанскую землю — ее спнеющие речные дали, обнаженные ракиты, в которых посвистывал октябрьский ветерок, пожухлую крапиву, перепадающие дожди, молочный дым над селами, мокрых телят с удивленными глазами, пустынные, неведомо куда ведущие дороги.

Несколько лет я прожил в есенинских местах вблизи Оки. То был огромный мир грусти и тишины, слабого сияния солнца и разбойничьих лесов.

По ним раз в несколько дней прогремит по гнилым гатям телега, да порой в окошке низкой избы лесника мелькнет девичье лицо.

Надо бы остановиться, войти в избу, увидеть сумрак смущенных глаз — и снова ехать дальше в шуме сосен, в дрожании осенних осин, в шорохе крупного песка, сыплющегося в колею.

И смотреть на птичьи стаи, что тянут в небесной мгле над полесьем к теплому югу. И сладко тосковать от ощущения своей полной родственности, своей близости этому дремучему краю. Там текут из болот прозрачные ключи, и невольно кажется, что каждый такой ключ — родник поэзии. И это действительно так.

Зачерпните в жестяную кружку воды из такого родника, сдуйте к краю красноватые листочки брусники и напейтесь воды, дающей молодость, свежесть, вечное очарование родной стороны. И вы уверитесь, что только небольшая доля этой поэзии выражена в стихах таких поэтов, как Есенин, все же ее несметные богатства еще скрыты и ждут своего часа.

Недавно я читал стихи совершенно забытой поэтессы Растопчиной, современницы Пушкина и Лермонтова, и нашел у нее две пророческих строки:

Поэты русские свершают жребий свой...
Не кончив песни лебединой...

В этих словах было только признание того, что случилось.

Оскорбления, дуэли, клевета, ревность, тяжелый характер — все это было внешней картиной этих трагедий.

Понятно, когда человек уходит из жизни от отчаяния и усталости. Но, пожалуй, нет ничего странного в том, что человек может уйти из жизни и от сознания душевной полноты, когда она доходит до такой завершенности, что каждый следующий день — унадок и ущерб. Таких случаев мы не помним, но я допускаю, что они могут быть.

...Глухие зимние дни, поля в ночных снегах, в оловянной мути, скрежет смерзшихся дубовых листьев за окном — и он один, один в этих ночах без сна, без вдохновенья. Живут только воспоминания — бесплодные, томительные. Все необратимо, невозвратно.

И вдруг — отдаленный топот копыт. Кто-то скачет издалека. К нему. С какою вестью?

Всадник соскакивает у крыльца, и через мгновение в руках у Пушкина записка. Она приехала! Она ждет его у Осиповых в Тригорском! Анна!

Как будто все эти буреломы и мертвые леса, все эти косые избы и волчьи ночи озарил мгновенный метеор.

И вот он уже скачет через ночь, он видит только ее глаза во тьме — ее сияющие слезами и любовью зеленоватые глубокие глаза.

Он мог бы упасть с седла и умереть от одного удара в сердце. Где-нибудь здесь, у трех сосен на берегу озера Маленец или около песчаного косогора.

И в тысячную долю мгновения этой смерти он был бы истинно счастлив.

Этот сон о Пушкине или, как говорили в старину — «видение», так крепко вошел в меня, что я часто видел его наяву и мог бы описать во всех простых чертах — от зимнего ветра, бьющего Пушкину в глаза, до огней в доме Осиповых, играющих в облещенных стеклах.

ДЕВОНСКИЙ ИЗВЕСТНЯК

Первый подснежник я заметил у самого края подтаявшего хрустящего снега, в том месте, где уже сочились струйки талой воды. Они перекатывали какие-то зерна и песчинки.

Белые, почти прозрачные лепестки подснежника, измятые после зимнего сна, распрямлялись на солнце и вздрагивали.

Первая весна! Prima vera! Когда мы с мучениями зубрили в гимназии латынь, то только эти два благозвучных латинских слова впервые примирили нас — и то немногих — с этим языком. «Прима вера» — первая полудетская весна. Та весна, когда стрелки травинки еще не выползли из земли и видны только в сырых маленьких трещинах. Там они еще прячутся от ночных заморозков.

Тихое солнце в полном безветрии грело землю (это было в Орловской области около городка Ливны) и спокойно сверкало над просторной — тогда еще уездной, а ныне районной — Россией.

В оврагах за городом уже сердилась и бормотала вода. Вдали, в печном дыму пригородных слободок —

Стрелецкой и Ямской — орали, надсаживаясь и сдуру теряя голоса, слободские бесстрашные петухи. Они радовались возвращению тепла и ликовали по случаю своей долгой жизни, — петухам, наверное, казалось, что они бессмертны на этой земле так же, как бессмертны и люди.

Я отпросился из РОСТА на несколько дней и поехал в Ливны к старым знакомым мамы. Поехал без всякого дела, просто так. Мне хотелось отдышаться после трудной жизни в Пушкине и затяжной московской зимы.

В Ливнах жила старушка, вдова земского врача Шацкого, с дочерью, тоже врачом, и сыном-геологом. После экспедиции на восточный берег Каспийского моря геолог Алексей Дмитриевич заболел тяжелым нервным истощением и теперь отдыхал в Ливнах у матери и сестры. Шацкие жили в старом деревянном доме вблизи железной дороги.

Геолог не любил сидеть на месте. Он все время бродил по городу и полям вокруг него и брал с собой в спутники девушку — дочь машиниста Таю — и меня.

Иногда с нами ходила и его сестра Нина Дмитриевна — строгая на вид, но добрая и близорукая сорокалетняя женщина, очень решительная в своем медицинском деле и влюбленная в это дело, как был в него влюблен и ее отец.

Слава о нем, как о бескорыстном и самоотверженном докторе-исцелителе жила еще долго после его смерти в Ливнах, в Ельце, и в самом Орле.

К отцу вдова его и дети относились с благоговением. Память его почиталась не только за его вра-

чебный талант, но и за то, что он был из числа народников и боготворил Чернышевского. В кабинете доктора, где мне стелили на диване, висели фотографии юношей, похожих на писателя Гаршина, с длинными волосами и курчавыми бородками, и девушек в черных и тугих шелковых корсажах с буфами и гладкими прическами.

У всех девушек были открытые, очень русские лица и серые глаза. Конечно, на фотографиях цвет глаз разобрать было нельзя, но так мне казалось. Этот цвет глаз очень шел к чуть заметным улыбкам на губах этих девушек и к их приветливым лицам.

Сам я вырос в семье с неустойчивым и беспокойным бытом, с разнокалиберной обстановкой случайных квартир, и, может быть, поэтому чувствовал необыкновенную любовь к таким домам, как у Шацких.

В этих домах, как выражались в старину, можно было «отдохнуть душой». Тишина, изредка украшенная смехом и голосами молодежи, легкая суета праздников, старые диваны, над которыми склопалась тень фикусов, вечерний и непонятно почему успокаивающий писк керосиновых ламп, много старых книг и журналов, легкий запах лекарств, как и должно быть в доме врача. Сад за окнами, а за садом — железная дорога, станционный переезд, редкий перестук товарных поездов и громкое пыхтение старых паровозов. Мне всегда казалось, что вблизи станции они нарочно пыхтят так напряженно и так торопливо работают шатунами, чтобы показать, какие они незаменимые работяги. Милый запах вечернего чая, смешанный с легким самоварным паром, какое-ни-

будь всегда особенное варенье («Вы не поверите, Тая достала в Орле десять кило сахарного песка») то из китайских яблок, то из ежевики — все это и еще сотни мелочей создавали уют, без которого плохо жить человеку. Уют этот одно время принято было ругать: он, мол, «обволакивает и успокаивает людей».

— Ну и слава богу, что успокаивает, — говорила старушка Варвара Петровна, — хоть подумать и прийти в себя будет время. А то среди ваших этих вопросов и, как их там, проблем, что ли, недолго и здоровье совсем потерять. Выпейте лучше чайку с вишневым вареньем да сходите в кино. Там, говорят, представление идет замечательное про какого-то закройщика из Торжка. Тая прямо обохоталась.

Из окна докторского кабинета виднелись такие дали и такие мягкие округлые взгорья, что даже замирало от взгляда на них сердце. А у подножия этих далей, увалов, оврагов и взгорий широкой (по весне) лентой протекала под железнодорожный мост река Быстрая Сосна.

Она действительно была быстрая, струистая, несла последние коричневые льдины, шуршала, особенно громко по ночам, и с каждым часом подымалась, качая и затапливая кусты лозняка.

На ветках лозы тесно сидели, как крошечные воробьи с желтыми грудками, пушистые почки-«барашки». Они распушились как раз к вербному воскресенью.

Вдоль берега реки снег уже стоял, но подалее, на краю полей, он еще лежал толстым покровом.

Геолог объяснял это тем, что Быстрая Сосна про-

текает у Ливен в мощных пластах девонского известняка, а этот известняк будто бы хранит в себе тепло далеких многомиллионных эпох. Это тепло сочится непрерывно из земных недр и отравляет жителей Ливен.

Поэтому, по словам геолога, в городке до сих пор, на седьмом году революции еще много диких поверий. Он рассказывал, что бесплодные ливенские женщины покупают у рыбаков живых щук, пускают их в корыто с водой и долго — не меньше, чем два часа, — смотрят, не отрываясь в желтые и злые щучьи глаза. Говорят, помогает. А старухи грызут от зубной боли куски известняка с могилы юродивого Петьки-Петушка. Тоже, говорят, помогает.

Тая только вскрикивала и с испугом взглядывала на меня, боясь, что я могу этому поверить.

Когда геолог заговаривал о девонском известняке, Нина Дмитриевна делала мне незаметный знак, чтобы я слушал, но не возражал. А старушка Варвара Петровна начинала дрожащей рукой разглаживать скатерть на обеденном столе.

Губительное дыхание девонского известняка было той легкой и безопасной манией, какой страдал геолог.

Кроме того, он убеждал меня, правда, не очень уверенно, что человечеству принесет много несчастий, а возможно, и полную гибель все, что начинается на букву «г» — Германия, Гогенцоллерны, Гитлер, Геббельс (тогда уже начинался в Германии расцвет фашизма).

Но в общем геолог был человеком добродушным, молчаливым и никому не мешал.

На второй день моего приезда в доме выставили рамы. Сырой разогретый сад дохнул в комнаты слабым запахом ванили, напоминая, что приближается пасха.

На подоконниках обывательских домишек зеленой сочной щеткой прорастал в плошках овес.

Старухи плелись на кладбище с поминальными веночками из крашенных стружек — цветов еще не было, они не распустились.

Цветы и венки из стружек делали очень искусно (особенно большие лоснящиеся розы) ливенские мастерицы. Они даже славились этим на всю округу. Красили стружки анилином, — ярко и неприятно.

Каждый день геолог гулял за городом с Тасей и со мной.

Тая была хромая, милая девушка с толстой русой косой и светлыми круглыми глазами. У нее была какая-то болезнь щитовидной железы (по словам геолога, конечно, от излучения девонского известняка). Нина Дмитриевна давно ее лечила, надеялась вылечить окончательно и устроить после этого в медицинский техникум в Ельце.

Тая робко расспрашивала меня (геолога она немного побаивалась) о Москве, Черном море, о Крыме, о том, какие там растут деревья и правда ли, что, поднявшись в горы, можно попасть в облака.

Иногда она спрашивала меня, видел ли я Ленина и Льва Толстого, Горького, Маяковского и Шалинина.

Я выдумывал и говорил, что видел, хотя не видел ни Толстого, ни Горького. Мне нравился восторг в ее глазах — она даже задыхалась и начинала пришеп-

тывать от волнения. Я рассказывал ей обо всем так, как ей хотелось бы услышать.

К счастью, геолог не обращал внимания на наши разговоры во время прогулок, а Нина Дмитриевна их не слышала, иначе мне здорово попало бы за обман.

Нина Дмитриевна была строжайшей ревнительницей правды во что бы то ни стало.

— У меня медицинский ум, — говорила она. — Я не понимаю, какая может быть польза для человека от выдумок, даже от самых приятных. Любая правда лучше их. И человечнее.

Я с ней не спорил, но правым считал, конечно, себя.

В воскресный день во время прогулки мы встретили за городом на берегу Быстрой Сосны молодецкого красноармейца. Он сидел на сухом бревне и вырезал из куска ивовой ветки жалейку — простую пастушью дудочку.

Когда мы поравнялись с ним, он встал, как перед старшими, и вытянулся.

— Вот! — сказал он смущенно и покраснел. Здравствуйте! Режу тут... Балуюсь помаленьку...

Мы присели на бревно, закурили. Красноармеец все стоял, не решался сесть с нами, пока Тая не потянула его за рукав шинели и не заставила сесть. Жалейку и нож он поспешно спрятал в карман шинели.

В Ливнах стояла какая-то воинская команда. Красноармеец был, должно быть, из этой команды.

— Новобранец? — спросил его Алексей Дмитриевич.

— Так точно! — охотно ответил красноармеец. — Касьян Звонарев. Сам я олонецкий. Тут я недавно.

С давних пор Олонецкий край привлекал меня. Мое увлечение географией России шло наплывом: то я читал заповсем все, что мог достать о Белоруссии, потом — о Закаспийских степях, а одно время увлекся Севером, зачитывался строгой и неторопливой книгой Максимова «Год на Севере» и описаниями северных монастырей.

— Был один хороший человек — Касьян с Красивой Мечи, — сказал Алексей Дмитриевич и улыбнулся, что бывало с ним очень редко. — А ты будешь теперь у нас Касьяном с Быстрой Сосны. Согласен?

— Да не очень, — ответил красноармеец. — Я, вернее, Касьян из Заонежья. Может, слышали?

— Слышали. Гранитная страна! — сказал Алексей Дмитриевич.

— Вот-вот! Граниту у нас много. И озер. Да не в этом наша сила.

— А в чем же? — спросил я.

— В плотницкой работе. У нас избы рубят без гвоздей, на одних шипах. И церквей рубленых — сколько хошь. Ученые приезжали, считали, считали, сбились — так и уехали, не сосчитавши. У меня дед — плотник, батя мой — плотник, я сам — плотницкий ученик, а бабка моя — первая помощница наших мужиков по плотницкому делу.

— Неужели старуха плотничает? — удивилась Тая.

— Да нет, не то. У нас избы все в кружевах, как

в полушалках. Понимаете? В деревянных кружевах. И каждый тщится, чтобы была у его избы иная лепота, иной узор, чем у соседа. А чтобы узор по дереву составить, для этого особый дар нужен. Большой дар. Бабке он даден, этот дар. Она такие узоры намечает, что не всякий и выпилишь. Даже большие мастера отступались, не осмеливались те узоры осилить.

— А как же она работает? — спросила Тая.

— Сначала тоскует. Сидит иной раз до полуночи на крылечке, на входе в избу, все томится. Ночи у нас по лету все в свету, в белизне. В такие ночи дыхание у человека воздушное, как сквозь сито какой-то. Посидит вот так, потоскует, потом запоет про себя чего-нибудь старинное-престаринное, протяжное, но не церковное, а общее, стародавнее. Из новгородских времен. А спевши, возьмет уголек и рисует на чем ни попало узор. И у всех у них, у этих узоров, есть имена. Один называется «Свиток», другой — «Травница», третий — «Петушиный пере-клик».

Он помолчал.

— Ой, разболтался, я прощения прошу.

— Девон источает яд, — строго сказал Алексей Дмитриевич, — а граниты, гнейсы и все эти крупнозернистые магмовые породы выдыхают силу, зоркость, упорство. В этом вся соль.

— Народ у нас действительно зоркий, — согласился Касьян. — Поэтому наших больше берут во флот, в мореплавание. Один я обчелся, послали меня в эти поля да овражины. И река тут мутная, глины много.

— Вы бы сыграли, Касьян, — попросила Тая. — На вашей дудочке.

— Извольте, если желаете.

Красноармеец вынул жалейку, долго ее осматривал, вертел в пальцах, потом поднес к губам и заиграл жалобно, тонко, будто какая-то залетная птица призывала кого-то, просила прислушаться к ее птичьей беде. Мы сидели, слушали.

Потом Касьян, гремя тяжелыми сапогами, проводил нас до железнодорожного переезда, попрощался, за что-то поблагодарил и ушел.

— Жалко его, — вдруг сказала Тая. — Совсем мальчик. И бледный очень.

— Это от весны, — ответил геолог. — В ливенском весеннем воздухе особенно много девона.

Мне казалось, что все в этом северном мальчике было от весны — и бледность, и смущенный ласковый взгляд и, главное — пение жалейки. Как будто звенели под сурдинку слабенькие весенние стебельки и проснувшиеся после зимы соки разных растений.

Вскоре я уехал из Ливен, но эти несколько дней весны я долго не мог забыть. Есть такое слово «светлость». Помните, у Тютчева: «Есть в светлости осенних вечеров...» Все дни в Ливнах были наполнены этой светлостью, как солнцем.

Однажды Алексей Дмитриевич вошел в кабинет, где я лежал на диване, и высыпал на письменный стол из картонной коробки много фотографий.

— Хотите посмотреть места, — спросил он, — куда вам нельзя никогда ездить?

— Почему?

— Потому что при вашем цвете глаз и волос вам опасно спускаться ниже 45-й параллели. Я геолог и точно это знаю. Смотрите, тут такие наглядные

пласты пород, складки, свиты и обрывы, каких нет нигде больше ни в Европе, ни в Азии. Смотрите спокойно и не пугайтесь. Если захотите, я вам кое-что объясню.

Он ушел, загадочно улыбаясь. Я встал, сел за стол и взял в руки первую же большую фотографию.

Под ней была надпись: «Порог Усть-Урт. Вид с северо-запада, со стороны Мангышлака».

Я всмотрелся в фотографию, и меня взяла оторопь.

В необыкновенной ясности воздуха над глинистой пустыней, усеянной мелкими сухими камнями, вздымалась отвесная черная стена высотой в 200—300 метров — гладкий порог, как бы срезанный пожом исполина.

Казалось, что в этом месте пустыня раскололась и неведомые силы подняли половину ее к небу гигантским домкратом.

На отвесной этой стене не было ни трещин, ни следов водомоин, — то была совершенно девственная стена, будто только что возникшая здесь, несмотря на многие тысячелетия, безусловно прошедшие со времени ее образования.

Так иногда подымается над землей в безоблачном свете неба, в чистой его синеве черная, как мировая ночь, глухая, могучая и молчаливая — грозная или ураганная — туча, резко отделенная от остального мира.

Но в этой сухой туче нет ни вспышек молний, ни рокота грома, ни признаков далеких вихрей в виде косматых сосков пыли, припадающих к земле.

Усть-Урт! Я знал, что на восточном берегу Каспийского моря лежит это недоступное и смертоносное

плоскогорье, похожее на могильную плиту с периметром в несколько сот километров. Туда нет никаких дорог.

Вопреки словам Алексея Дмитриевича, мне не стало страшно. Наоборот, жадное любопытство охватило меня, жестокое желание увидеть эти места лицом к лицу и почувствовать не страх, а какой-то непонятный восторг перед грозным одиночеством этих скал, раскаленных солнцем.

Очевидно, такое же состояние может охватить человека при виде катаклизмов, космических катастроф, извержений и великих ураганов, меняющих в одно мгновение знакомый облик Земли.

То был застывший катаклизм.

В лупу можно было рассмотреть на краю этой стены белеющий над обрывом скелет верблюда. И ни одной травинки. Даже чий — закаленное полумертвое растение пустыни — не рос нигде, сколько я его ни искал.

«Ад! — подумал я. — Ужас и одиночество».

В этом зрелище было что-то могучее, захватывающее, будто я стоял на краю бездны.

Я вспомнил недавний разговор с Ильфом в «Четвертой полосе» «Гудка». Говорили о путешествиях, и Ильф вскользь сказал:

— Чтобы взять от путешествий все, что можно, нужна большая психическая выносливость.

— Люблю афоризмы! — заметил Олеша. — Особенно из уст великих путешественников Джемса Кука и Ильи Арнольдовича Ильфа.

Ильф не рассердился.

— Юра, — сказал он убежденно, — вы же не со-

бираетесь всю жизнь гулять в панаме в померашцевых рощах Сицилии или срывать лилии в пышных королевских садах Версаля. Что, если вам придется попасть в такие окаймленные места, как, скажем, Антарктика или пустыня Гоби? Семьдесят градусов скрипучего мороза или паршивая колючая пыль, что будет хлестать вам в лицо несколько суток подряд. Надо это увидеть, выдержать, запомнить. И не проситься домой, до мамы. Так рождаются великие характеры и мужественные души. Иначе не стоит брать в руки гусиное перо.

Я вспомнил эти шутливые слова Ильфа и подумал, что я непременно поеду на восточный берег Каспийского моря и увижу эту омертвелую землю, как бы испепеленную мировым пожаром. И выдержу. И напишу.

Тем сильнее и преданнее я буду любить потом каждый серый денек у нас, в Средней России, — тот самый, что помаргивает дождиком и пахнет мокрыми лопухами.

Мне казалось, что свою старую любовь к обыкновенной земле я усилю, укреплю, доведу до предела, только испытав отчаяние этих бесплодных пространств, непригодных для человеческой жизни.

Я рассмотрел все остальные фотографии. Все они были очень выразительны и даже величественны. То были снимки берегов Кара-Бугазского залива на Каспии.

Я ничего о нем не знал и даже не представлял себе, где он находится. Но он уже неудержимо тянул к себе своей дикостью, явной, тайной, скрытой

в его мглистых пространствах. Тайна была. Я это чувствовал.

Потом Алексей Дмитриевич скупо и странно рассказал мне о Кара-Бугазе. В его рассказе действительность была спутана с легким бредом. Но это, пожалуй, только усилило мой интерес к этому неведомому месту. После его рассказа загадочный туман кое-где поредел, а кое-где сгустился.

Я узнал, что залив этот похож на исполинский конденсатор соли и что вся местность вокруг него никем не исследована.

Так впервые в тихом провинциальном доме, где застенчиво цвел на окнах бальзамин, родилась мысль о книге, целиком взятой из реальной и суровой, даже жестокой жизни. Я начал много думать об этой книге и готовиться к поездке на Мангышлак и в Кара-Бугаз.

А когда через три года мне удалось совершить эту поездку и начать писать книгу, я второй раз приехал в Ливны. В силу чего — не знаю. Может быть, в силу прямой противоположности ливенских мест закаспийской пустыне. В Ливнах все были на старом месте — и старушка Варвара Петровна, и Нина Дмитриевна, и геолог, и Тая, и даже Касьян из Заонежья.

Он остался в Ливнах на сверхсрочную службу, как мне показалось, из-за Таи, возмужал, загорел и перестал быть похожим на хилого северного пастушка.

Мне легче было писать о Кара-Бугазе в дремоте старого дома, под непрерывную переключку слободских петухов, под ровный звон дождевой воды, лив-

шейся с крыши в старую бочку, поглядывая за окно, где сквозь облака просвечивало по временам нежаркое и безопасное солнце.

„МАЛЫЙ КОНОТОП“

Захолустный городок Конотоп я видел несколько раз только из окна вагона. Я ничего о нем не знал, кроме того, что в нем умер вымышленный эренбургский герой Хулио Хуренито.

Говорили, что «в свое время» городок этот был знаменит лужами. В них каждый год тонули много-много страдальные конотопские кони. Выражение «в свое время» казалось таинственным. Что значит: «в свое время»? Очевидно, во время расцвета, хотя во все времена ни о каком расцвете Конотопа не могло быть и речи.

Лужи эти давно высохли. В наши дни Конотоп славился только замечательными блинчатыми пирожками с мясным фаршем. Ими торговал буфет на конотопском вокзале.

К приходу каждого пассажирского поезда на стойку в буфете выносили большие противни с этими раскаленными пирожками. Делом чести для каждого пассажира было пробиться к стойке и съесть, обжигая пальцы, хотя бы один сочный и хрустящий пирожок.

Самый же Конотоп казался довольно уютным со своими чистыми домиками, плетнями и тополями. На пути из Москвы в Киев это были первые тополя. Пассажиры всегда радовались им, как предвестникам юга.

Непонятно почему, но этот городок дал имя одному московскому писательскому содружеству.

Почти каждый день у Фраермана в его маленькой квартире на Большой Дмитровке собрались друзья: Аркадий Гайдар, Александр Роскин — знаток Чехова, писатель и пианист; молодой очеркист Михаил Локутов; редактор Детского издательства добрейший Ваня Халтурин и я.

Сборища эти Роскин неизвестно почему назвал «Конотопами».

Объяснить происхождение этого названия он надменно отказался, ссылаясь на то, что существовал же во времена Пушкина литературный кружок «Арзамас» и никто толком не знает, почему он был назван именем этого маленького и такого же захолустного, как и Конотоп, городка.

У каждого из нас были по этому поводу свои соображения. Но, пожалуй, самым проникательным оказался Гайдар. (Он вообще был чертовски проникателен и лукав.)

Одно время жена Фраермана Валентина Сергеевна угощала нас блинчатыми пирожками. А поскольку Конотоп славился ими и Роскин об этом знал, то поэтому он, по мнению Гайдара, и придумал такое странное название нашему содружеству.

Собирались мы почти каждый день, читали друг другу все вновь нами написанное, спорили, шумели, рассказывали всяческие истории, пили дешевое грузинское вино и водку и в один присест съедали по три огромные банки свино-бобовых консервов.

Мы были как будто беспечны и веселы, очевидно, потому, что литературные планы не только переносились

няли нас, но и постепенно осуществлялись. Тут же, как говорится, «на глазах» Гайдар писал свою великолепную «Голубую чашку», Фраерман — не менее прекрасную повесть «Дикую собаку Динго, или Повесть о первой любви», Роскин со скрупулезной талантливостью работал над книгой о Чехове, Лоскутов, как бы стесняясь собственной наблюдательности, рассказывал о Средней Азии, а я был полон планами будущего «Кара-Бугаза».

О Гайдаре и Фраермане я писал много и не хочу повторяться. Но об остальных участниках «Конотопа» надо сказать несколько слов, в особенности о Роскине.

Он был человеком сложным и выдающимся как по обширности своих познаний, так и по острому и насмешливому уму.

Он великолепно играл на рояле и снисходительно презирал нас за отсутствие тонкого музыкального вкуса.

Когда на него находила хандра, он играл отрывки из «Хованщины», чаще всего сцену гадания, и пел щемящие слова «о великой страде печали» и «заточении в дальнем краю».

Всегда он был сдержан, немного замкнут, как большинство одиноких людей, был способен и к резкости и к необыкновенной нежности. Среди нас он считался самым взрослым, самым серьезным и требовательным ко всему, что бы мы ни писали. Нам он не давал спуску. Его статьи о писателях настолько отличались от сырой критической писанины того времени, что сразу выдвинули его в число лучших исследователей советской литературы, в ряды ее знатоков.

Он первый начал писать очень короткие — в одну-две страницы очерки о западных писателях. Они, к сожалению, забылись.

Я помню его очерк о Флобере, где писатель, человек и эпоха были даны чуть ли не на одной странице и оживали перед глазами в лаконичных и безошибочных подробностях. Так, например, вместо того чтобы, как водится, подробно рассказывать об изнурительной, просто каторжной работе Флобера над рукописями, Роскин сообщил только одну частности.

Флобер, как известно, работал в Круассе, в своем маленьком доме на берегу Сены. Он просиживал за письменным столом до рассвета. На столе горела лампа с зеленым абажуром. Всю ночь светилося единственное окно в кабинете Флобера.

Свет в окне был таким постоянным, что капитаны морских пароходов, подымавшихся по Сене из Гавра в Руан, ориентировались по окну Флобера, как по надежному маяку.

Среди моряков существовало правило: «Держать на освещенное окно в доме господина Флобера». Говорят, что это правило было даже внесено в лоцию Нижней Сены и вычеркнуто из нее только после смерти писателя.

Зимой 1962 года я был во Франции и решил съездить из Парижа в Круассе — в этот приют, увековеченный в письмах Флобера, в маленький дом на самом берегу реки, где у Флобера гостили Тургенев, Жорж Санд, братья Гонкуры, Мопассан — почти весь цвет тогдашней литературы.

Но в день, назначенный для поездки в Круассе, из Руана сообщили, что через Ламанш из Англии

пришел тяжелый «смок» — непроницаемый и смертоносный туман. Всякое движение по дорогам Нормандии было прекращено, и поездку пришлось отложить.

Французский критик Пипкон, устраивавший эту поездку, был огорчен. Он старался утешить меня довольно печальным сообщением, что хотя после войны разрушенный бомбежками дом Флобера восстановлен, но он уже не тот, что был при его старом и громогласном хозяине. От сада почти ничего не осталось. Кроме того, Руан, разрастаясь, стиснул усадьбу Флобера заводами и новыми зданиями и лишил его прежнего деревенского очарования.

Роскину, чтобы рассказать этот эпизод о Флобере, понадобился один абзац, а мне, как видите, пришлось исписать целую страницу. Очевидно, поэтому мы и называли статьи Роскина «стальными» — за их краткость, отточенность и холодноватый блеск.

Роскин оставил небольшое, но ценное литературное наследство.

Он написал книгу о замечательном нашем ботанике Вавилове («Караваны, дороги, колосья»). Вавилов поставил себе задачу: «Мобилизовать растительный капитал всего земного шара» и сосредоточить в СССР весь сортовой запас семян, созданный в течение тысячелетий природой и человеком.

Эту исполнинскую задачу Вавилов выполнил благодаря неукротимой энергии и большим своим познаниям.

В те годы у нас очень увлекались интересными, но несколько броскими очерками Поля де-Крюи об ученых-новаторах. Книга Роскина о Вавилове была серьезнее и живее, чем работы де-Крюи. Она была лише-

на того несколько фамильярного пафоса, с каким де Крюи говорил о величайших ученых своего времени.

Эта книга Роскина сейчас совершенно забыта. Он писал ее для юношества. Ее, конечно, следовало бы переиздать. Написана она была со знанием дела, так как Роскин прекрасно изучил биологию и ботанику, помогая в свое время своему брату-биологу Г. И. Роскину. Этот последний стал широко известен своими поисками путей лечения рака.

Кроме книги о Вавилове, Александр Роскин написал превосходную биографическую книгу о Чехове и несколько статей по литературе, главным образом о молодой советской прозе.

Мне он помог тем, что, несмотря на нашу дружбу, предостерег меня от опасности впасть в книжную экзотику и нарядную «оперность» стиля. Он напечатал это предупреждение в одной из своих статей.

К счастью, эта статья совпала для меня со временем глубокого недовольства своими первыми («молодыми») рассказами, заставила уйти от литературных прикрас и стремиться к ясности и простоте. Вскоре Роскин первый — и так же по-дружески — приветствовал появление в печати «Кара-Бугаза» и «Мещерской стороны».

Я часто жил с Роскиным в Мещерских лесах и в Ялте и хорошо узнал его.

Его присутствие придавало каждому дню особое, «роскинское» своеобразие. Он был человеком азартным, несмотря на кажущееся «английское» хладнокровие. Азартным во всем — в литературных спорах,

музыке, рыбной ловле (это занятие он почему-то не презирал, хотя и относился к нему скептически), в игре в покер и в других своих увлечениях.

Как большинство азартных людей, он любил всякие пари и состязался в этом с изобретательным и хитрым Гайдаром. Выиграв пари, он ликовал, как мальчик.

У него было пристрастие к удивительным подсчетам. Например, он подсчитывал, сколько страниц мог бы написать за день без всякого утомления. Выходило, что две страницы, не больше. Роскин множил эти страницы на число дней в году (365). Получалось, примерно, 700 страниц. Лучшим размером он считал книгу в среднем в 250 страниц.

Итак, каждый год он мог бы выпускать по три больших книги, по три полновесных романа, если бы он работал, как Дюма и Бальзак.

Мы говорили, что беда только в том, что он не Дюма и не Бальзак, но Роскин презрительно пропускал эти замечания мимо ушей. В оправдание своих выкладок он любил рассказывать о некоем французском писателе (имени я его не помню), который, кроме своей «большой» работы, ежедневно втайне писал по утрам всего пять минут прозы (что дает 10 печатных строк).

Так, шутя, к концу года он заканчивал рассказ в 80 страниц — для рассказа это немало — и дарил его ко дню рождения своей жене.

— Редкий случай супружеского счастья! — восклицал Роскин.

Мы соглашались, но не хотели следовать примеру французского писателя. Это обстоятельство Роскина

не огорчало, хотя он и обзывал нас бездельниками и дилетантами.

Рыбу с нами Роскин (это было в Мещерском крае, в селе Солотче) ловил только «на очки».

С долгими препирательствами разрабатывалась сложная система этих «очков». Рыбы распределялись по величине и породе. Самое большое очко давалось за леща, самое пустяковое — за ерша.

После рыбной ловли, обычно тут же на берегу, шел шумный спор, сколько у кого очков. Выигрывал обыкновенно Фраерман. Ему почему-то везло на лещей, мы же с Гайдаром ловили больше окуней и плотву. За окуня Роскин не хотел давать больше четырех очков на том основании, что эта жадная и глупая рыба сама подсекается и ловить ее не такое уж большое искусство, тогда как лещ — очень осторожный и глазастый, и, чтобы поймать его, нужно не двигаться, не кашлять, не сморкаться и не курить. Поэтому за леща Фраерман получал по 12 очков, что было, между нами говоря, совершенно несправедливо.

Наши споры на берегу затягивались почти до темноты, до первого сияния далеких звезд или до того времени, когда низко в небе повисал месяц. Он приносил с собой медлительные волны речной сырости и всегда немного таинственную ночную тишину.

Все эти пари, «очки» и подсчеты были передышками, легкой и беззаботной стороной жизни. Все остальное время Роскин много и трудно работал.

Он делал для каждой своей работы огромное количество выписок, целую библиотеку цитат из книг,

статей, газет, из частных писем, из записей разговоров, подслушанных на улицах, в трамваях, в редакциях. Работая, он заваливал весь стол книгами и выписками, сделанными бисерным, каким-то чеховским почерком.

Он рылся в них, находил нужные и так смело и ново вставлял в свой текст, что появление некоторых, даже знакомых цитат напоминало внезапный взрыв, вскрывающий пласты нетронутой литературной породы. Как бы возвращенный блеск погасшей звезды падал на давно забытые, потускневшие страницы.

В руках Роскина цитаты становились его собственным творчеством. Я был уверен, что при таком остром «чувстве цитат», можно было бы соединить их в некую замечательную и цельную книгу, несмотря на разницу авторов, которыми они были написаны, и несхожесть эпох, когда они появились на свет.

Роскин не мог работать вглухую, как многие из нас. Он никогда не прятал свои вещи «до времени» от чужих глаз. Сдержанный и даже скрытный во всем, что касалось его личной жизни, он ничего не скрывал в своей работе. Ему не только хотелось знать, что и как пишут другие, но и знакомить других со своей работой в самом ее движении.

В своих оценках он был жесток, но требовал такой же жестокости и по отношению к себе.

Однажды тихой и свежей черноморской зимой в Ялте, в писательском доме съехалось несколько москвичей. В их числе был и Роскин.

Все работали по своим комнатам, встречались только в столовой, и только в общих чертах, из не-

охотных признаний мы знали, кто над чем работает.

Эта кротовая жизнь не нравилась Роскину. Он предложил нам собираться, по примеру «Конотопа», каждый вечер и прочитывать друг другу только то, что было написано за один сегодняшней день, — никак не больше. И очень коротко поговорить о каждом таком маленьком куске.

Поднялся шум. Как это можно разговаривать по поводу нескольких оторванных от целого абзацев. Абсурд!

Больше всего сердился «последний символист на земле» Георгий Чулков — маленький изящный старик, похожий на композитора Листа. Он считал это предложение Роскина профанацией искусства.

— Все равно, попробуем, — сказал Роскин, — и вы увидите, что пици для разговоров хватит. Особенно, если принять во внимание, что среди нас есть непревзойденные болтуны.

С этим все согласились.

Эти вечерние собрания Роскин назвал «Американками» — так же странно, как и встречи у Фраерманов были названы им «Конотопами».

Дело в том, что в те годы в Москве было много маленьких пивных заведений, где посетители стоя выпивали свою кружку пива и уходили. Сидеть было не на чем. Тогда эти пивнушки назывались «американками».

Наши чтения были своего рода литературными «Американками». Каждый прочитывал свой отрывок, — как бы выпивал свою кружку пива.

Традиции «Американок» держались потом в Ялте несколько лет.

Первая же «Американка» прошла шумно и интересно. Роскин прочел отрывок из своего очерка об Альфонсе Додэ. Потом каждый вечер кто-нибудь читал свое.

Арбузов читал отрывки из пьесы «Таня», над которой он работал в Ялте, Атаров — из рассказа «Араукария», я — из рассказа «Созвездие Гончих псов». Читали еще Гехт, Письменный, Лавренев, Малышкин, Гайдар и Дерман, — словом, все, кто тогда жил в Ялте.

Мы разжигали камин. За окнами туго гудели от ветра кипарисы. Споры достигали жестокого накала.

В конце концов сдался и старик Чулков. Он пришел на «Американку» и прочел одну картину из своей новой пьесы.

Пьеса была чрезмерно символической, и для нас совершенно старомодной и манерной. Поэтому, несмотря на уважение к богатому прошлому Чулкова и к его возрасту, пьесу «раздраконили». Особенно сердился Арбузов.

Но старик Чулков выказал такой свирепый запал в споре с нами, так ловко и изящно отбивался от нападений, швырял в нас таким количеством познаний из любых областей литературы и психологии, что мы в конце концов сдались (кроме Арбузова) и даже приняли Чулкова в почетные члены «Американки».

Чулков был, конечно, стариком совершенно удивительным. Символист, вечно и шумно ссорившийся с символистами, особенно со своим бывшим другом Александром Блоком, бывший полптический ссыльный, исследователь Тютчева, мистик, знаток Италии, любитель отчаянных зимних поездок на Ай-Петри (вопреки запрещению врачей), великолепнейший

эрудит в области поэзии и философии, выдумщик, создатель поэтических теорий, прелестнейший чудак — он вносил в нашу жизнь постоянное интеллектуальное беспокойство, а по манере себя держать — галантность 18-го века.

Он как-то разбудил меня ночью и с неподдельным ужасом рассказал, что его сосед, какой-то никому неизвестный угрюмый человек, — конечно, явный суккуб или инкуб (в этой мистической иерархии Чулков разбирался великолепно), не дает Чулкову ни на минуту уснуть ночью, так как ползает по стенам, как муха («Очевидно, у него есть какие-то присоски на пальцах», — говорил возмущенно Чулков), доползает до потолка, срывается и падает с таким шлепающим звуком, будто большая тряпичная кукла. Сорвавшись, он снова лезет на стену, снова срывается — и так всю ночь, до утра.

— Я только что выходил в парк и смотрел, — сказал шепотом Чулков. — Окно в его комнате освещено, и все видно. Это очень страшно.

Мы вместе пошли в парк, но опоздали, — инкуб погасил свет, и я так ничего и не увидел. Ветер подымал на голове у Чулкова его седые длинные волосы, и мне стало не по себе.

Наутро Чулков, выбритый, свежий, элегантный, пошел к директору дома, к широко известному среди писателей Якову Федоровичу Хохлову, бывшему боцману Черноморского флота, и попросил перевести его, Чулкова, в другую комнату, подальше от инкуба.

— Раз этот инкуб, или как его там зовут, вас беспокоит, то, пожалуйста, — я переведу вас, — сказал

со скифским спокойствием Хохлов. — Здоровье писателей для меня важнее всего.

По всему своему складу и образу жизни Роскин был горожанином («урбанистом», как мы его насмешливо называли). Он любил концерты, театры, работу в залах больших библиотек, кино, книги, яркий свет и шум городских улиц, но к природе относился с некоторым предубеждением.

По его мнению, природа причиняла много беспокойств. Терпеть неудобства, а порой и мучения от дождей, холода, ветра, грязи, комаров и темных осенних вечеров в Солотче, тех вечеров, когда приходилось читать и писать при кухонной керосиновой лампочке — он не любил.

В Солотче мы с Фраерманом и Гайдаром досиживались обыкновенно до глубочайшей осени. Роскин считал нас сумасшедшими.

В первый же сырой и холодный осенний день, когда начинали быстро обнажаться леса и сады, он уезжал в Москву.

Но постепенно природа начала исподволь брать его в плен и в конце концов переломила. Он сдался и все чаще вспоминал среди московской сутолоки какой-нибудь вечер в лесах или тихий день на старнице.

Однажды мы сидели с ним под вечер на пустынном берегу Оки около избы паромщика. За нашей спиной зеленели крутые обрывы правого берега. То был древний, крепко связанный с историей России берег с его обветшалыми крепостными монастырями — оплотами против татарских набегов, старыми ветлами и яблоневыми садами, с деревьями, поса-

шими удивительные имена — Окоемово, Аграфенина нустьишь, Иоанн Богослов, — отдаленным мычанием стада, бляением овец, петушиным ором, запахом отцветающих лип и пением женщин, возвращавшихся с сенокоса.

Перед нами на левом берегу темной стеной стояли близкие Мещерские леса. Над лугами, над заливными озерами и старицами уже подымался, свиваясь, туман.

К нам подошел обыкновенный деревенский петух. Он сверкал чернью, пурпуром и золотом, но, несмотря на свой богатый наряд, выглядел круглым дураком. Подняв одну ногу, он долго смотрел на нас, потом оглушительно и сердито закричал нам прямо в лицо.

Я бросил в него щепкой. Он вскрикнул, сразу потерял заносчивый вид и побежал прочь, приседая и спотыкаясь. Я засмеялся, а Роскин с укором сказал:

— Ну зачем? Он вправе гордиться собой. Необыкновенно красивая птица. Я впервые это заметил. И вообще, в последнее время каждый день замечаю новые вещи, — хоть бы вот эти плоты и то, как ивы постоянно меняют цвет листвы от ветра. Я мог бы просидеть на этом бревне день напролет.

С этого времени он постепенно перестал дичиться природы и все чаще начал ходить с нами в длинные, утомительные, но заманчивые походы, которые Гайдар называл «вылазками рыбацкого патруля».

Роскин погиб в народном ополчении летом 1941 года под Вязьмой. Всегда внешне невозмутимый, он приходил в состояние холодного негодования, как только начинал говорить о фашизме.

Его ненависть к фашизму, к бесноватому диктатору Гитлеру, к тотальному режиму была полна глубокого отвращения, какое мы испытываем перед гадюкой.

Перед смертью жизнь подарила ему — одинокому и замкнутому — последнюю свою улыбку, — любовь прекрасной и преданной женщины.

Уходя в ополчение и попрощавшись с ней, он не оглянулся. Это было свыше его сил.

Есть испытания, какие никогда не должен был бы переносить человек, настолько они безжалостны и противоречат тому возвышенному и дорогому, чем он жил все годы и к чему упорно и постоянно звал людей. Звал своими мыслями, книгами, всем строем своего внутреннего мира.

Он ушел, а женщина долго смотрела с отчаянием на его чуть согнутую спину.

И я почему-то вспомнил, как моя мать, когда разошлась с отцом, после того как она осудила его за легкомыслие и прокляла за свою разбитую жизнь и неизбежное горестное будущее своих детей, разрыдалась, когда увидела сторбленную, виноватую спину уходящего отца.

В спине этой было столько беспомощности, что мама не могла не разрыдаться. Еще мгновение — и она позвала бы его, побежала бы за ним, и он бы, конечно, вернулся. Но гордость, обида, нетерпимость не позволили ей этого сделать.

Может быть, взгляд в спину уходящего навсегда человека — самое страшное, что приходится переживать.

Уходя в ополчение, Роскин взял с собой яд (мор-

фий). Он не боялся смерти, был к ней как-то веселоравнодушен. Единственное, чего он не мог бы перенести, по его словам, — это попасть в руки фашистам и позволить им издеваться над собой.

Под Вязьмой часть Роскина попала в кольцо. Немцы начали опрашивать пленных и отбирать евреев.

Переводчик из ополченцев сказал им, что Роскин — армянин. Казалось, он был спасен. Но какой-то негодяй выдал Роскина, и часовые отшвырнули его в сторону, где стояли евреи. Тогда Роскин принял яд. Говорят, он мучился недолго.

„НЕ ВЫЙДЕТ!“

С каждым годом у Фраермана становилось все больше друзей. Поэтому «Конотоп» начал разбухать, как тесто на опаре, и размножаться, как говорил Роскин, естественным почкованием.

Пришлось в конце концов установить три разряда «Конотопов» — малый, средний и большой.

«Малый Конотоп» собирался в первоначальном тесном составе почти каждый вечер. В «Средний Конотоп» вошли новые «общники» — Василий Гроссман, Семен Гехт, Андрей Платонов, старый наш друг по Батуму архитектор Миша Синявский и его жена Люсьена. Собирался «Средний Конотоп» вместе с «Малым» раз в неделю. И, наконец, примерно раз в месяц собирался «Большой Конотоп», — громоздкий и шумный.

На «Большом Конотопе» можно было встретить самых разношерстных людей — от сибирского востор-

жепного поэта Вани Ерошина («Душа горит!») до академика французского типа, как бы увенчанного лаврами историка Тарле, и от корректного до последней пушники, снятой с пиджака писателя Георгия Шторма, до волгаря и «окальщика» книголюба Шуры Алпмова — косовороточного вечного студента.

Гайдар писал шуточные стихи про каждого участника «Конотопов», но, к сожалению, их никто не записывал, и сейчас они забыты. Он сочинил гимн «Конотопа». В этом гимне трогательно изображалась смерть Гайдара в Конотопе от неизвестной причины:

Конотопские девушки свяжут
На могилу душистый венок.
Конотопские девушки скажут:
«От чего это вмер паренек?»

Гимн кончался отчаянным воплем Гайдара:

Ах, давайте машину скорее!
Ах, везите меня в Конотоп!

В стихах о Фраермане были совершенно точные строки:

В небесах над всей вселенной,
Вечной жалостью томим,
Зрит небритый, вдохновенный,
Всепрощающий Рувим.

Стихи эти Гайдар писал стремительно, лукаво и иной раз беспощадно.

Однажды на «Малом Конотопе» я прочел короткий рассказ о той книге, какую собирался писать — о «Кара-Бугазе».

Это был, собственно, не рассказ, а свободный план книги, украшенный авторскими отступлениями и ци-

татами из географических исследований, из книг по химии, отрывками из восточных поэтов и лодии Каспийского моря, из энциклопедии и моими размышлениями, выданными за чужие цитаты. Мне нравилось, что ни один ученый и литературовед не мог изобличить меня в неправильности этих цитат, так как и цитаты и их авторы были вымышлены.

Я прочел на «Конотопе» свой план и отдал его на всеобщее обсуждение. Но обсуждать особенно не стали, так как никто не знал, что такое Кара-Бугаз. Только Роскин сказал, что охотно согласился бы вместе со мной написать книгу о Кара-Бугазе, но это — бессмысленно, так как он уверен, что ни в какой Кара-Бугаз я не поеду и книгу о нем не напишу.

Конечно, Роскин предложил пари. Если через год я не напишу книгу, то должен буду купить Роскину школьный микроскоп, а если напишу, то Роскин обязуется подарить мне хороший спиннинг. Понятие о хорошем спиннинге было чрезвычайно растяжимым и колебалось в пределах от пяти до тысячи рублей. Из-за цены этого спиннинга шли постоянные распри.

Мне хотелось написать книгу чисто географическую, суровую, строгую, похожую на отчет о путешествии, — такой же живописный, как самодельная и грубая карта, набросанная углем на куске оберточной бумаги.

С детства я досадовал, что вся земля исследована и описана, а в тот год эта досада была особенно сильной. Должно быть, оттого, что я вынужден был сидеть в Москве и ежедневно вариться в вязкой скуке телеграфного агентства РОСТА. Скука эта была для меня даже окрашена в грязновато-желтый цвет.

Особенно было досадно, что земля была исследована и описана зачастую совсем не теми людьми, которые могли бы передать ее сложную красоту и таинственность.

Все описано! Все! Все изучено! Почему известный картограф капитан Бутаков не оставил мне хоть небольшое Аральское море, чтобы я мог его объездить и описать. Я бы сделал это с величайшим наслаждением.

Я бы вспомнил до последней мелочи все обстоятельства, которые имели касательство к этому морю. Вспомнил бы даже проект французского писателя Бернардена де Сен-Пьера, пытавшегося устроить на берегах Арала республику для политических изгнанников из всех стран мира. Но белобрысая трезвая немка Екатерина Вторая отвергла этот проект без всяких оснований.

Все на земле было описано, за исключением таких редких и адских мест, как Кара-Бугаз. Поэтому он особенно меня привлекал и тревожил.

Я — человек совершенно не суеверный — все же помнил предупреждение геолога Алексея Дмитриевича Шацкого о том, что Кара-Бугаз грозит мне гибелью. Предупреждение это мне тоже нравилось.

Я решил весной непременно поехать в Кара-Бугаз.

Денег, конечно, не было, да и надежд на деньги тоже не было. Единственный способ добыть деньги состоял в том, чтобы предложить какому-нибудь издательству еще ненаписанную книгу о Кара-Бугазе и получить под нее аванс.

Я пошел к директору одного из издательств. Ди-

ректор смотрел на меня с досадой, как на нечто наскучившее и насквозь известное.

Я рассказал ему вкратце о Кара-Бугазе.

— На берегах этого залива,— сказал я,— непрерывно накапливаются гигантские, единственные в мире залежи мирабилита — глауберовой соли. Иначе она называется «английской».

Директор раздраженно повертел в пальцах отточенный карандаш, ударил острием карандаша по столу и сломал острие.

— Безобразие! — сказал он.— И то и другое — безобразие! И дрянь карандаш и ваш замысел воспеть в романе слабительную соль и получить под эту соль хорошенький аванс. На фоне нынешнего бурного индустриального роста Советского Союза ваша тема, если взглянуть как следует, является прямым издевательством и глумлением над народом и Советской властью.

— Не вый-дет! — сказал он внятно и твердо, как будто говорил с жуликом, подсунувшим ему гнилой товар.— Не вый-дет! Этот номер не пройдет!

Он снова ударил карандашом по столу и теперь уже сломал его окончательно.

— Не вый-дет! — прокричал он, глядя круглыми остановившимися глазами не на меня, а куда-то за мою спину, где висел на стене портрет.

Я встал и, не попрощавшись, ушел.

В этом месте я на минуту прерву повествование, чтобы рассказать о том, как я единственный раз в жизни видел Сталина.

Было это, примерно, в середине тридцатых годов. В Кремле заседал съезд комсомола.

Кремль в те времена был наглухо закрыт для народа. Поэтому я обрадовался, когда в Детгизе мне предложили гостевой билет на последнее заседание комсомольского съезда.

После двадцати лет перерыва я снова мог увидеть Кремль, пройти по огромным плитам его площадей, посмотреть соборы в почерневшем дряхлом золоте, в их угрюмом и боязливом молчании.

Я вошел в Кремль через Спасские ворота. Часовой, цепко и недоверчиво поглядывая мне в лицо, проверил документы.

Я прошел через площадь к Большому Дворцу вдоль нескольких будок с часовыми. Каждый раз, когда я подходил к очередной будке, в ней требовательно трещал звонок, часовой выходил из будки и снисходительно отдавал честь, не меняя каменного, застывшего выражения лица.

Сталин на съезде еще не выступал. Участники съезда надеялись, что он выступит хотя бы на последнем заседании. Но никто не мог сказать, случится это или нет. Даже председатель съезда Косарев не знал этого.

Участники съезда то дружно, то вразброд кричали: «Просим Сталина, Сталина, Сталина!»

По временам этот крик «Товарища Сталина!» сменялся возгласом: «Слава гениальному Сталину — нашему родному отцу!»

Этот возглас тонул в грохоте аплодисментов и топоте ног.

Время шло. Весь президиум ждал стоя появления Сталина.

И вот — свершилось! Из стены за столом президиума, из ореховой панели внезапно и незаметно возник Сталин.

Все вскочили. Яростно загремели аплодисменты.

Сталин неторопливо подошел к столу, остановился и, сцепив руки на животе, вращая большими пальцами, смотрел на зал.

Я сидел вблизи и хорошо рассмотрел его. Прежде всего меня поразило то обстоятельство, что он был мало похож на многотысячные свои приукрашенные портреты и парадные фотографии. Это был низкий, коренастый человек с тяжелым лицом, рыжеватый, с низким лбом и толстыми усами.

Одет он был в ту форму, какую, видимо, придумал для себя до того, как начал носить мундир генералиссимуса — в серый френч и серые брюки, как всегда, заправленные в блестящие, начищенные сапоги.

Зал сотрясался от криков. Люди аплодировали, воздев руки над головой. Казалось, сейчас обрушится потолок.

Сталин поднял руку. Сразу упала мертвая тишина. И в этой тишине Сталин отрывисто выкрикнул хрипловатым голосом с сильным грузинским акцентом:

— Да здравствует советская молодежь!

И как же таинственно и внезапно исчез в стене, как и появился.

(Некоторое отступление от темы)

Когда я был в Ливнах, геолог Алексей Дмитриевич показал мне старую карту восточного побережья Каспийского моря. Я срисовал ее и даже кое-что к ней добавил, но очень осторожно.

Добавил я на карте, или вернее, отметил на ней, те воображаемые места, где хорошо бы сделать привал во время столь же воображаемых будущих моих скитаний по берегам Кара-Бугаза. Места эти всегда чем-нибудь отличались от общего характера пустыни и ее известковых нагорий.

Я выбирал эти места около высохших колодцев или старых могильников, потерявших сейчас всякое подобие надгробных памятников и ставших грудой камней.

Где-то на окраине Мангышлака, к югу от него, во впадине, ведущей к Кара-Бугазу, я нашел отметку: «Несколько высохших деревьев». Я поставил свой привал около них. Должно быть, это были старые тутовые деревья или колючий саксаул, — дерево, о которое можно ушибиться, как о ломаное железо.

Эти мои отметки были, конечно, игрой. Поэтому я прятал свою карту от чужих глаз. Мне было неловко рассказывать о ней даже таким всепонимающим и ребячливым людям, как Фраерман.

Я отмечал на своей карте не только привалы, но и места, где должен был, попав туда, обязательно вспомнить о ком-нибудь из близких мне людей или о каком-нибудь событии из моей жизни. Вот здесь

хорошо бы вспомнить о ночи в Люблине, засыпающей сиренью, а здесь — о том, как мальчишками бродили мы по лесам в Ревнах, — разыскивая в заросших оврагах бормочущие чистые ручьи. И сирень и ручьи должны были обязательно прийти мне на память среди палящей закаспийской пустыни.

Оправдание для этой мальчишеской игры пришло позже, когда я попал на берега Кара-Бугаза и убедился, что, погружаясь в такую странную игру над картой, я был совершенно прав.

Моя любовь к картам принесла мне много знаний, а порой и радостных неожиданностей.

С географическими картами в моей жизни связано несколько более или менее интересных историй. Одну из них я расскажу.

Это история о карте Атлантического океана, о близнецах, моей рассеянности и о провинциальном французском городе в Провансе.

История эта началась давно, в 1957 году, когда я впервые попал в Париж и испытал на берегах Сены около лавок букинистов жестокое огорчение.

Почти у каждого букиниста были выставлены заманчивые карты, слабо подкрашенные акварелью и выгоревшие от старости. Легкий ветерок дул вдоль Сены, колыхал эти карты. Они напоминали затвердевшие флаги, вышедшие из употребления и развешанные для просушки на теплой гранитной набережной.

Я долго рассматривал карты, но не мог купить ни одной. У меня к тому времени иссякли скудные запасы франков. В кармане жидко постукивали ничтож-

ные и невесомые сантимы. Они были такими легкими, будто их делали из швейцарского сыра.

О крупных купюрах — нарядных трескучих асигнациях из тонкой бумаги с романтическим портретом молодого Бонапарта на Аркольском мосту — осталась только приятная память. Так же, как и о бородатом и вызывающем боязливое почтение Викторе Гюго на пятифранковых бумажках.

В общем, я не мог купить ни одной карты и свою досаду по этому поводу высказал в очерке «Мимолетный Париж», напечатанном вскоре в Москве. Отсюда и начала разматываться нить дальнейшей истории.

В то время в Париже в Сорбонне учился на славянском отделении студент-француз некто Имар, родом из города Монтобана на юге Франции.

Имар изучал русский язык. Он познакомился с русской девушкой-москвичкой, присланной в Сорбонну для усовершенствования во французском языке, и вскоре они поженились.

Окончив Сорбонну, Имар уехал с молодой женой учительствовать в Монтобан. Он случайно прочел там в номере журнала «Октябрь» «Мимолетный Париж», проникся состраданием ко мне, купил в Париже на набережной Сены старую карту и прислал мне в подарок в Тарусу.

Карта была вложена в толстую картонную трубку со множеством наклеенных на нее французских марок. Такое обилие заграничных марок вызвало большое оживление среди неизбалованных тарусских филателистов.

В письме, сопровождавшем посылку, Имар сообщал мне, что недавно переехал из Монтобана в ма-

ленький городок, где-то между Марселем и Экс-ле-Провансом.

В декабре 1962 года я вторично приехал во Францию и написал из Парижа Имару. В ответ он прислал мне в Париж приглашение обязательно присхать к нему в провансальский городок и по возможности скорее, так как у Имара только что родились близнецы — две девочки — и хорошо было бы вместе отпраздновать это семейное событие.

В письмо была вложена пригласительная карточка, напечатанная, очевидно, в марсельской типографии красивым, широким шрифтом. Семейство Имар просило всех родственников, друзей и добрых знакомых посетить их дом в день, назначенный для праздника в связи с появлением на свет сразу двух новых Имаров.

Я довольно ясно представил себе этот веселый день под безоблачным небом Прованса.

Толпа любопытных, но вежливых школьников — учеников Имара собралась около его дома. Над калиткой развевался трехцветный флаг.

Вдоль тихой улицы стояли разнокалиберные запыленные машины гостей — загорелых и шумных провансальцев, — ценителей знаменитого марсельского блюда «буйябесс» (в него кладут все, что водится съедобного в Средиземном море — креветок, лангустов, омаров, мидий, разную рыбу и водоросли).

Женщины ласково болтали друг с другом. Молодая мать умиляла всех серыми русскими глазами, молодой отец — учитель и спортсмен — смущался, а мэр городка — жилистый старик в старомодной широкополой шляпе, какую носили знаменитый прован-

сальский поэт Мистраль и не менее знаменитый провансальский прозаик Альфонс Додэ, — много шутил по поводу русско-французской дружбы, принявшей такую неожиданную и осязательную форму в их родке.

Накрывали столы. На очагах на французский манер жарили на вертелах мясо. Откупоривали выдержанные вина. И уже напившийся где-то молодой сосед — человек чувствительный и разговорчивый — уверял, что с малых лет влюблен в туманную и холодную Россию и до сих пор вот в такие, изрядно надоевшие ему солнечные дни грустит по облакам. Соседа не смущали взрывы хохота. Да, месье-дамм, он грустит по прекрасным облакам России. Он видел точно такие же облака, когда был недавно на берегу Ламанша.

Правда, этого молодого француза, грустившего по облакам, я встретил в другом месте, в деревне Эгальер, но это не имеет значения.

Но вообще говоря, трудно было представить себе все перипетии этого милого праздника. Я боялся опоздать на него.

Мы как раз уехали из Парижа в поездку по Провансу, и в конце этой поездки решено было посетить нашего заочного друга Имара. Поэтому путешествие по Провансу было в известной мере предвкушением этой встречи.

Об этом путешествии, пожалуй, стоит сказать несколько слов. Хотя бы потому, что проходило оно в стороне от традиционных путей с их набившей оскомину красотой.

Сначала был средневековый папский Авиньон.

Могучие и вместе с тем легкие крепостные стены окружали этот город. Над ним возвышался как бы выросший из диких скал папский дворец. Быстрая Рона струилась за окнами кафе с милым названием «Все идет прекрасно». Там ручные хозяйские канарейки садились на руки подвыпившим шоферам грузовиков-камионов. Шоферы осторожно гладили их черными от автола пальцами по золотым и тугим, скрипучим на ощупь спинкам и ласково дышали на них перегаром вина.

За Авиньоном простирались ясные дали, а за рекой вздымался на холме безлюдный форт Святого Андрея — заповедник крепостной мощи и тишины.

В его могучие ворота могли въехать в ряд только два рыцаря, а меж камней в стенах росли тоненькие, как ниточки, побеги диких озябших ирисов (был декабрь, но, к счастью, не было мистраля — бича этих мест).

Мы осторожно вытащили несколько таких побегов, привезли в сырой бумаге в Москву, посадили в вазоны с нашей русской землей, и побеги за две недели превратились в пучки огромных мечевидных изумрудных листьев. Весной их высадят в грунт в Тарусе, и они будут жить в дружбе с русской ромашкой и мятой.

Улицы Авиньона составлены сплошь из средневековых домов с черными балконными решетками и бронзовыми дверными молотками.

На многих домах были прикреплены мемориальные таблички, настолько позеленевшие, что их трудно было прочесть. Но все же наш спутник Виктор Некрасов разобрал на одной табличке неожиданную

для нас надпись, что в этом доме жил и умер первый воздухоплаватель, изобретатель воздушного шара Монгольфье. Дом, между прочим, был бедный, тесный и темный.

Потом был Арль. В жизни есть явления, которые больше подходят для сновидений, чем для реальности.

Таким городом для сновидений оказался Арль. Свет дня — к тому же чистый и резкий — делал особенно стереоскопичной, особенно выпуклой картину этого города, его римскую арену, где теперь происходят корриды, его скупые по линиям, пустынные улицы, напоминающие о соседней Испании, сиротливый маленький дом Ван-Гога, уцелевший на краю пустыря, оставшегося после разбитого воздушной бомбардировкой квартала.

В Лувре, в галерее импрессионистов хранятся палитры всех больших художников Франции, в том числе и палитра Ван-Гога. Она как бы составлена из жирных кусков арльской земли. Она светит охрой, суриком, красным вином, осенним цветом виноградного листа, столетней ржавчиной и сырой лиловой тяжестью только что перепаханной земли.

Деревья, завязанные в медные узлы руками неведомых исполинов, отсвечивают сизой корой.

Все густо, плотно. Краски как бы шарахаются одна от другой, не в силах выдержать напряжения и блеска своих соседей.

В арльской гостинице — обитой пунцовым штофом, сонной и настолько старой, что в ней даже как-то неловко было жить современному человеку, тщес-

лавные владельцы привинтили к дверям многих комнат медные таблички с надписями: «Комната Мистраль», «Комната Пикассо», «Комната Императора Наполеона III». Очевидно, стоило хотя бы раз остановиться в этой гостинице мало-мальски известному человеку, чтобы на следующий же день старый арльский гравер-ворчун уже начинал нарезать новую дощечку для гостиничных дверей.

Нам отвели комнату Мистраля.

Рассматривая обстановку этой комнаты, я подумал, что Мистраль, наверно, был весьма почтенным и старомодным поэтом-говоруном. Ему легко было жить. От него ничего не требовалось, кроме того, чтобы воспевать в гладких стихах общепризнанные красоты Прованса.

Почему-то в комнате Мистраля я чувствовал себя неловко, будто я нарушаю стариковский распорядок жизни прославленного поэта. Нарушаю тем, что Мистраль не может понять, что мне от него нужно, почему я попал в эту комнату, кто я такой и о чем, собственно, ему следует со мной разговаривать.

Это состояние мучило меня всю ночь сквозь непрочный сон, должно быть, потому, что за стенами задувал с далеких Альп тезка поэта — настоящий бешеный и невежливый ветер мистраль. А он, как известно, путает человеческие мысли, раздражает людей и заставляет их делать несообразности. Очевидно, поэтому местный суд смягчает наказания людям, совершившим какие-либо проступки во время мистраля.

Задолго до поездки во Францию я от кого-то слышал или где-то читал о красоте уроженок Арля —

арлезианок. Но, как всегда, не придаешь слышанному вскользь никакого значения, пока не столкнешься с ним лицом к лицу. Так случилось и теперь.

Мы зашли в тесное и уютное кафе под стеной римской арены (так зовут в Арле сохранившийся римский цирк, своего рода арльский «колизей»).

В кафе не было ни души. Портреты знаменитых торреро в разноцветных традиционных костюмах висели на стенах.

В кофейной теплоте и тишине сверлил под сурдинку сверчок. От его пения делалось особенно уютно, тем более, что за окнами сверкало холодное и ясное декабрьское предвечерие, и лучи солнца, падая на стены кафе, не давали тепла. Тепло шло от газовой печки.

Только через минуту после нашего прихода из задней комнаты вышла на звон колокольчика хозяйка — молодая арлезианка.

Как жаль, что поэтическая смелость поведения, свойственная таким людям, как Гейне, давно оставила нас, давно перестала быть свойством нашего времени.

Конечно, Гейне встал бы перед вошедшей арлезианкой, как перед испанской инфантой или Сарой Бернар, отвесил бы ей низкий поклон и сказал что-нибудь вроде того, что шуршание ее простого платья прекраснее и тревожнее для его мужского сердца, чем шум самых дорогих королевских шелков.

Он, конечно, сказал бы это тонко и остро, — мы уже давно разучились так говорить. Сказал бы и вызвал внезапный румянец на щеках прелестной арлезианки.

Мгновение назад ее еще не было. Но вот — она вошла, она есть, и уже ясно, что твой мир, конечно, не мог существовать без нее, что она давно жила в нем и владела твоей покорной душой.

Она не была даже очень молода. Ей было, должно быть, лет тридцать. Узкое лицо было покрыто тонкой смуглостью, какая существует только в Арле. Темнота и ясность ее глаз, немного сумрачных и суровых, ее взгляд прямо в глаза — и внезапно этот сумрак глаз арлезианки вспыхивает до самого их золотистого дна сиянием взволнованной и таинственной улыбки. И улыбка эта сливается с легкостью ее движений и легкостью ее голоса, ясного, как во сне.

Со школьных лет я чувствовал красоту русского языка, его силу и плотность. С годами это перешло в глубокую любовь к языку и в более или менее ясное знание его.

Вскоре я убедился, что одного знания языка мало, особенно для людей, посвятивших себя литературе. Помимо этого, нужно еще чувство своего родного языка. Зачастую оно бывает врожденным, органическим. Оно не позволяет нам нарушать благозвучие языка и его необъяснимый, но явственный ритм.

Но несмотря на свою приверженность русскому языку, мне временами казалось, что он уступает по певучести, четкости, по некоторым своим модуляциям другим языкам, в частности, французскому и итальянскому, древнееврейскому и даже голландскому.

Очевидно, я, как и все мы, слишком привык

к своему языку, чтобы услышать его как бы со стороны и полностью оценить.

И вот в Арле, на бульваре Де-Лисс, в вечернем пустом кафе нас убедил в красоте нашего языка кельнер — «гарсон» средних лет — типичный арлезианец с насмешливыми глазами.

Он долго почтительно стоял невдалеке от нашего столика, слушал наш разговор, потом подошел и спросил, на каком языке мы разговариваем.

— А почему вы это спрашиваете? — спросили мы в свою очередь гарсона.

— Какой-то, — ответил он, — необыкновенно красивый язык. Я такого еще никогда не слышал. Это венгерский?

— Нет!

— Польский?

— Нет!

— Чешский?

— Нет!

— Какой же все-таки?

— Это русский язык.

— Погодите! — воскликнул гарсон и ушел за перегородку. Оттуда он привел другого гарсона — сидящего и благожелательного.

— Вот! — сказал он и с торжеством показал нам на своего товарища.

Тот смутился и вдруг произнес скороговоркой, но почти без акцента:

У попа была собака,
Он ее любил.
Она съела кусок мяса,—
Он ее убил.

Мы онемели.

— Откуда вы это знаете?

— Я изучаю русский язык,— ответил седеющий гарсон с некоторой гордостью.— По старому учебнику. По такому же учебнику я уже выучил испанский язык. Но у меня нет практики в русском языке. Он неслыханно трудный. В Арле русские не бывают. За несколько лет вы — первые.

— Зачем же вы изучаете этот язык?

— Он мне нравится,— ответил, смущаясь, гарсон.— Я холостяк. Я совершенно одинокий и трачу все свободное время на изучение языков. Я бы мог поговорить с вами по-русски, но я стыжусь своего произношения. И неправильных ударений.

— Но все-таки!

Гарсон оперся кончиками пальцев на столик и сказал с трудом:

Румяно зарею
Покрился восток.
Селе за рекою
Погас огоньек!

Он достал из кармана белой куртки маленькую, но толстую книгу — учебник русского языка, выпущенный каким-то неведомым издательством в Марселе.

Это был смешной и неуклюжий учебник, вроде пресловутого учебника нашего детства — Марго, над которым принято было всячески издеваться. Особенно хороши в учебнике Марго были примеры: «Золотые зайцы не желают скакать по зеленым канатам», «Этот день, не понедельник ли он?», «Усыпляйтесь,

моя дорогая бабушка, перед теплым огоньком из камелька».

Этот же гарсон привел к нам седого и сердитого на вид арльского таксиста месье Мориса. Таксист, неожиданно оказавшийся приветливым добряком, охотно согласился проехать с нами по Камарге и по западному побережью Прованса, идущему в сторону Испании.

Камарг — это дельта Роны, огромная заболоченная низина, заросшая высоким тростником и покрытая множеством озер и лагун.

В Камарге пасутся черные быки для корриды в Арле и Ниме и одномастные белые лошади. Должно быть, многие читатели видели французскую кинокартину «Белая грива» о трогательной дружбе сельского мальчика-жителя Камарга с дикой и вольной лошадью Белой гривой.

Низина подходит к морю. Там на дюнах среди шума сухих тростников живут маленькие рыбацкие поселки — пустынные, немного хмурые, совсем непохожие на близкие отсюда ослепительные и пряные курорты — на все эти Сан-Тропезы, Ниццы, Канны и Ментоны

В поселке Сент-Мари-де-ля-Мер у полосы прибоя вздымается, как глыба камня, старая церковь — серая, холодная и пустая.

Под алтарем сопит, всасываясь в пустоты берега, море. В церкви пахнет креветками. Горит несколько свечей, и висят по стенам ленты, бубенцы и детские неумелые рисунки кораблей и пароходов, похожих на корыта.

Ленты и бубенцы здесь оставляют цыгане. Раз в несколько лет сюда съезжаются представители цыган из всех стран Европы и выбирают в этой церкви цыганского короля.

Он «царствует» несколько лет.

Женщина в толстом теплом платке зашла вслед за нами в церковь и рассказала, что избранный недавно цыганский король родом, кажется, из Австрии или Венгрии, полюбил молодую цыганку откуда-то из-под Риги и уехал к ней. Женщина — простая рыбацка — все же пошутила и посмеялась, что и в нашей революционной стране живет, оказывается, король.

Неумелые рисунки кораблей и пароходов (даже колесных) вывешивают на стенах родственники рыбаков и матросов, ушедших в море, чтобы охранить своих родных от бурь и прочих морских опасностей.

Второй интересный городок лежал к западу от первого, за руслом Малой Роны, и назывался Ле-Гро-дю-Руа.

То был рыбацкий порт с двумя маяками, молами, тишиной, дремлющими барками и рыбаками в оранжевых брезентовых робах.

Мы прожили в Ле-Гро-дю-Руа два дня, — два безмятежных дня среди стука деревянных сабо, тихого пения худеньких девочек, баюкавших кукол на пороге домов, среди простонародных кафе и как бы поминутно засыпающего звона пустой церкви.

Узкая лагуна перерезала город и уходила вдаль, в песчаную низменность, где в 15 километрах от берега моря на краю лагуны стоял третий загадочный

город Эгморт (по-провансальски это значит «мертвые воды»).

В Ле-Гро-дю-Руа через эту лагуну был переброшен железный мост с единственным в мире настилом из просмоленных толстых корабельных канатов, туго скрепленных друг с другом. По этому бесшумному мосту безопасно проходили трехтонные грузовики.

По словам старожилов, в Ле-Гро-дю-Руа мы были первыми русскими посетителями. Это обстоятельство вызвало у местных жителей по отношению к нам не только прилив любопытства и радушия, но временами и подлинного восхищения.

Нас зазывали в кафе, старались угостить, расспросить о таинственной и ледяной («бр-р!!») Москве.

В одном кафе рыбаки с торжеством притащили к нам единственного обитателя Ле-Гро-дю-Руа, которому посчастливилось побывать в России.

Это оказался маленький, багровый от смущения старичок, заросший, как старый еж, белой страшной щетиной, — ее, должно быть, не брала никакая бритва!

Старичок посматривал на нас виноватыми и ласковыми глазками. Оказалось, что он когда-то служил матросом на французском броненосце «Жан Барт» и во время гражданской войны в 1919 году был со своим броненосцем в Одессе.

В Ле-Гро-дю-Руа все дни стояла немного туманная, холодноватая погода. Море тихо сердилось около молов. По ночам напряженно горели по далеким невидимым берегам белые и красные, очень чистые маяки.

На рассвете рыбацьи барки уходили в море, а воз-

вращались в полдень. Две-три гостиницы — приют летних туристов — были закрыты на зиму.

Одну из них специально открыли для нас, четырех человек, — протопили, дали полный свет, собрали небольшой персонал, и мы очень дружно вместе с этим персоналом прожили два дня, питаюсь в пустом ресторане всеми изделиями местной кухни.

И, наконец, последний городок — Эгморт.

Я уже чувствую недовольство читателя тем, что позволил себе такое отступление от прямой темы предыдущих глав. Единственным надежным оправданием для меня могут быть слова писателя Ренара, который советовал писать совершенно вольно, нарушая все правила и создавая этим (так ему казалось) хорошее настроение у читателя.

Я сильно в этом сомневаюсь, но материал берет пишущих в плен, и избавиться от давления материала можно, только записав его.

В середине века король Людовик Святой выстроил на низких дюнах вблизи Средиземного моря огромный замок. По лагуне, тянувшейся от моря, к этому замку могли подходить морские корабли.

Отсюда король отправлял в Палестину первые отряды крестоносцев. Замок получил название «Мертвые Воды» из-за неподвижных вод лагуны.

Мы подъехали к Эгморту к вечеру. На закатном небе возникла монолитная громада стен и башен. Она подымалась прямо из песчаной равнины. У ее подножия шелестела сухая трава.

Вокруг не было видно ни души, — ни человека, ни

лошади, ни птицы, ни машины. Замок казался необитаемым.

Это придавало ему облик загадочный и даже пугающий. Жизнь, наверное, ушла из этой каменной крепости несколько веков назад, лагуна обмелела, корабли уже не подходят к Эгморту, и вообще трудно понять, зачем в этом бесплодном и плоском месте соорудили такую величественную твердыню. Мы подивились ее величию. В стенах был слышен посвист ветра, долетавшего с моря.

Потом через узкие ворота мы въехали внутрь и были ошеломлены: в крепостных стенах, как игрушка в скорлупе ореха, был спрятан прелестный маленький городок с фонтанами, памятниками, скверами, кафе, старинными домами, пением патефонов, магазинами и даже с бензиновой колонкой.

Голуби кружились над островерхими кровлями. Скромно покашливал колокол в часовне. Звук его был так слаб, что не проникал наружу за тяжелые стены.

Алым пламенем перебегала реклама кинотеатра: «Самый длинный день мира».

Жителей городка можно было, должно быть, пересчитать по пальцам.

Мы зашли в маленький и темный магазин. Там было пусто, но дверной колокольчик, потревоженный нами, так долго побренькивал, что наконец из задней комнаты вышел, не торопясь, с салфеткой в руке молодой краснощекий француз — владелец магазина.

Узнав, что мы русские, он всплеснул руками, с отчаянным воплем: «Франсуаза! Франсуаза!» —

бросился назад, в недра магазина, и извлек оттуда милovidную молодую женщину — свою жену, чтобы познакомиться ее с русскими. Франсуаза, должно быть, стирала. Бормоча извинения и краснея, она вытирала руки о фартук.

Потом в свою очередь она привела девочку трех лет, сделавшую нам низкий реверанс, а хозяин привел согнутую пополам старушку с клюкой — свою престарелую мать — и прокричал ей в ухо, что она видит перед собой в Эгморте первых советских людей.

Старушка ласково кивала нам и прижимала к глазам платок, вытирая слезы.

Можно было подумать, что в дом к этому французу вернулись пропавшие и чудом спасенные родственники.

Тотчас появилось вино, кофе, всякие пирожные — «пâtisseries», а в дверях уже толпились, напирая друг на друга, улыбающиеся жители Эгморта и большое количество мальчишек.

Они — эти мальчишки первыми дали клич о нашем появлении, и они же последними проводили нас за ворота города в меланхолические равнины Камарга.

Но не бывает, должно быть, добра без худа. В этом милом городке я обнаружил, что забыл в Париже, а может быть, и совсем потерял адрес Имара, и что сейчас уже никак не могу припомнить название того городка, где он живет.

Я проклинал себя, свою память, свою недавнюю болезнь, которая, как всегда, была виновата во всех моих бедах и, прежде всего, — в рассеянности.

Мы были удручены. Нас даже не утешило то обстоятельство, что мы заедем в Марсель.

Месье Морис грустил вместе с нами, подсказывал мне названия городков вблизи Марселя, но ни одно из них не казалось мне знакомым.

Так печально закончилась история с картой Атлантического океана. Может быть, Имар и его жена прочтут эти строки и они послужат для меня некоторым оправданием.

О Марселе я писать не буду. Представьте себе увеличенную в несколько раз Одессу и к тому же во сто крат более шумную, блестящую, разноязычную и анекдотическую — это и будет Марсель.

ОБЕРТКА ОТ ГОЛЛАНДСКОГО СЫРА

История с географической картой, которая будет рассказана ниже, случилась раньше, чем рассказанная выше. Она резко повлияла на всю мою жизнь.

Началось с того, что, живя летом в жаркой и пыльной Москве, я питался преимущественно (из-за собственной лени) чаем с сыром и колбасой.

Жил я уже не в подвале на Обыденском переулке, а в коммунальной квартире на Большой Дмитровке, на углу Столешникова переулка, где внизу был меховой магазин. В витрине его много лет сидел широко известный всей Москве волк с ощеренной мордой.

Сыр и колбасу я покупал в соседнем бакалейном магазине. В магазине этом все продавщицы были румяные и толстощекие и носили белые халаты по-

верх пальто. Халаты на них лоснились и трещали.

Однажды в бакалее мне завернули кусок голландского сыра в обрывок географической карты.

По своей дурной привычке всегда что-нибудь читать или рассматривать за чаем, я начал изучать этот обрывок карты и вдруг почувствовал холодок под сердцем.

Некоторые из нас любили в детстве (и любят до сих пор) придумывать и рисовать карты воображаемых великолепных мест, почти всегда — девственных и пустынных.

В эти карты, должно быть, каждый вкладывает свое представление о земном рае, о счастливых и богатых краях, куда с первых же лет жизни стремились его помыслы.

И вот обрывок карты такой заповедной страны — и не выдуманной, а действительно существующей — лежал передо мной.

Бесконечные леса, озера, извилистые реки, едва намеченные пунктиром заросшие дороги, пустоши, деревушки, лесные кордоны и даже постоянные дворы — все, о чем я мечтал в своей жизни, было собрано здесь.

Обрывок карты относился к Мещерским лесам.

В конце лета я поехал туда, и с тех пор вся моя жизнь круто переменялась, окрепла, приобрела новую ценность, — впервые я узнал как следует срединную Россию. С тех пор сильнейшее чувство любви к ней, к своей, до тех пор почти неизвестной, но коренной родине, ни на минуту не покидало меня, где бы я ни был, — в Калабрии или в Туркменистане, на сырой Балтике или в Альпах.

Для родины всегда находишь любое оправдание, как и для матери. Только сыновьям дано понимание материнского сердца, проникновение в его скрытую ласковость, в его муку, в его небогатые радости.

После Мещеры я начал писать по-другому — проще, сдержаннее, стал избегать броских вещей и понял силу и поэзию самых непритязательных душ и самых как будто невзрачных вещей, — к примеру, ветерка, несущего над выгоном запах дыма и качающего рыжие султаны сухого конского щавеля.

И еще одна карта сыграла большую роль в моей жизни — карта Кара-Бугаза. Ей я был отчасти обязан первой своей замеченной книгой. Но и только. На дальнейшей моей жизни Кара-Бугаз не оставил сколько-нибудь явных следов.

ИСПЫТАНИЕ ПУСТЫНЕЙ

Наконец я достал немного денег на поездку в Кара-Бугаз. «Конотоп» благословил меня, я с трудом взял отпуск в РОСТА и поздней весной уехал на Каспий. До отъезда я много времени просиживал в Ленинской библиотеке и читал без особого разбора все, что относилось к закаспийской пустыне и Каспийскому морю.

Я решил ехать поездом до Саратова, а оттуда на пароходе до Астрахани.

Журнал «Наши достижения» заказал мне два очерка — о Калмыкии и об Эмбенских нефтяных промыслах. Поэтому из Астрахани я должен был проехать в город Элисту — столицу Калмыцкой республики, оттуда вернуться в Астрахань, потом на па-

роходе ехать в город Гурьев на Урале, где было управление Эмбанефти, оттуда опять вернуться в Астрахань и после этого уже двигаться дальше (тоже на пароходе) в Мангышлак и Красноводск.

Из Красноводска любимыми способами надо было добираться через пустыню в Кара-Бугаз.

Впервые в жизни я ехал «за материалом» для книги. Я был тогда еще настолько наивным писателем, что это обстоятельство наполняло меня даже некоторой гордостью. Но очень скоро я понял, что никогда не следует нарочито искать материал и вести себя как сторонний наблюдатель, а нужно и в пути и во всех местах, куда ты попадаешь, просто жить, не стараясь обязательно все запомнить.

Только в этом случае ты остаешься самим собой и впечатления войдут в тебя непосредственно, свободно и без всякой предварительной их оценки, — без постоянной мысли о том, что может пригодиться для книги, а что не может, что важно и что неважно. Потом память безошибочно отберет все, что нужно.

До Саратова поезд шел очень медленно через средне-русские поля и овраги.

В Саратове я прожил два дня на окраине города в береговой слободке. Там над всеми домами торчали нарядные голубятни, и тучи голубей весь день надоедливо кружились сизыми хлопьями над дворами.

Потом старый пароход «1812 год» отвалил в Астрахань. В моей каюте висел портрет одноглазого фельдмаршала Кутузова.

Нижняя Волга была явным преддверием пустыни, — тянулись мимо глинистые берега, желтая вода в пятнах мазута, охряное мглистое небо.

Было голодно. В пароходном буфете давали только тощую селедку и жидкий чай с маленьким куском черствого черного хлеба.

В поезде и особенно на пароходе я впервые столкнулся с поразившим меня упорным и как будто беспорядочным движением множества людей. Казалось, вся крестьянская Россия сплясала с напряженных мест и движется в поездах и на палубах пароходов куда попало, надеясь осесть наугад в каких-нибудь более спокойных и сытых местах.

Палуба была завалена молчаливыми этими людьми и их заносенным скарбом. Почти все везли мешки с картошкой и черными сухарями.

Женщины весь день стирали серое белье и пеленки, заходились, пуская пузыри, грудные дети, старики и старухи пели вполголоса одну и ту же молитву: «Святой боже, святой крепкий, святой бессмертный, помилуй нас!»

Под эти заунывные и мрачные песнопения пароход уходил все дальше к югу. Там с рассвета до вечера висела над горизонтом бурая мгла. Песчаная пыль оседала на всем. В каюте пахло пылью. Песок трещал на зубах.

На сожженных берегах появились первые верблюды. Шерсть после голодной зимы слезала с них большими кусками, и лиловые плечи на худых боках были хорошо видны даже с палубы парохода.

Верблюды бесстрастно смотрели вслед пароходу и непрерывно жевали, должно быть, колючки или полынь. Из рта у них тянулись длинные и вязкие нити зеленой слюны.

Я вспомнил слова Ильфа о том, что путешествия

требуют психической выносливости. Ильф был, конечно, прав.

Селедочная, сухая Астрахань открылась вдали в тяжелом мареве и запахе лежалой рыбы. Мареве это не уносили даже порывистые знойные ветры, задувавшие с востока, с так называемой Бухарской стороны.

В Астрахани меня приютил молодой астраханский писатель и журналист. Жил он на Варвациевом канале, в зеленом маленьком доме с крошечным тенистым садом.

Этот сад, где молодая и болезненная жена этого писателя развела много цветов, особенно настурций, показался мне раем. Цветы пахли прохладой. У писателя недавно умер маленький восьмимесячный сын. Молодая женщина тосковала и часто плакала, запершись у себя в комнате, а муж ее до позднего вечера просиживал в редакции.

Я тоскливо ждал okazji, чтобы уехать в калмыцкие степи, в город Элисту. Okazии все не было, и я бродил по городу и по берегам Варвациева канала. Мутный и пустынный, этот канал казался мне выцветшим свидением.

Единственным оазисом в городе была всегда безлюдная и прохладная картинная галерея. Я часто ходил туда, смотрел картины Нестерова, Сарьяна, Кустодиева — уроженца Астрахани, и удивлялся тому, как эти картины сюда попали и кому они здесь нужны. За все время я встретил в галерее всего несколько человек.

Мне не верилось, что в Астрахани родился и вырос Валемир Хлебников.

Наконец я уехал в калмыцкие степи. Они цвели по весне морями темных трав. Утром сотни жаворонков вырывались, трепеща крыльями, из этих трав и разбрызгивали росу. Она сверкала на солнце, и казалось, что какой-то странный дождь как бы подымался над самой поверхностью земли и висел над ней, а выше него воздух был чист и прозрачен.

Грузовик мчался, виляя около надменных беркутов, сидевших по обочинам широкой дороги. Ни один беркут не шевельнулся, хотя машина проскакивала около них почти вплитирку. Беркуты даже не давали себе труда повернуть голову, чтобы посмотреть на нас и на гремящее и пыльное сооружение, где мы жестоко тряслись в кузове, стиснутые грузом железных кроватей и бочек соленой рыбы.

Самым наглым из беркутов шофер, проносясь мимо, грозил кулаком, но это не производило на них впечатления.

Меня удивляло это бесстрашие беркутов. Мой попутчик — старый землемер, знаток этих степей — объяснил мне, что беркуты любят сидеть по обочинам дорог по той простой причине, что машины спугивают суетливых сусликов и тушканчиков. Суслики начинают бестолково метаться по дороге, и беркуты лениво и безошибочно ловят их. Оказывается, машина, как гончая собака для охотников, спугивала для беркутов дичь.

Мы сели на грузовик не в Астрахани, а на правом берегу Волги в сухом и сером поселке Калмыцкий Базар.

Перед отъездом начальник автомобильной станции записал пассажиров в подорожную книгу.

Он вписал в нее наши домашние адреса и адреса наших ближайших родственников.

Я расписался в этой истрепанной книге, как, должно быть, расписывались в ней путники в начале девятнадцатого века.

— Мало ли что может случиться в степи, — сказал начальник автостанции. — У нас тут бывает иногда беспокойно. Вы в первый раз здесь едете?

— Да.

— Тогда следите за водителем и делайте все так, как делает он. Не пейте воду из тех колодцев, из каких он не станет пить. Не заходите в те юрты, куда он не будет заходить. Водитель опытный. А то схватите или трахому, или еще что-нибудь почище.

Мне эти предосторожности казались чрезмерными, но вскоре я понял, что начальник автостанции был прав. Понял я это, когда мы остановились на минуту у первых юрт и к машине подошло несколько старых калмыков с кровавыми от трахомы глазами. Вместо век у них краснело обнаженное мясо.

Старики присели около машины на корточки и долго и одобрительно похлопывали ладонями по горячим пыльным покрывкам грузовика. Они восхищались машиной и считали ее, очевидно, чем-то священным.

На шеях у всех стариков висели большие связки окаменелых баранок.

Потом я видел эти ожерелья из баранок у многих калмыков. По числу баранок можно было судить о достатке калмыка, — чем больше баранок он носил на себе, тем был состоятельнее и тем высокомерно себя держал.

Юрты попадались редко.

Мы обгоняли караваны неправдоподобно худых верблюдов, они тащили на себе новые телеграфные столбы. Их привязывали к спинам верблюдов крест-накрест.

К полудню начались миражи. Всю степь — от колес машины до самого горизонта — заливало тусклой непрозрачной водой. Было похоже, что мы несемся по огромной, устрашающей своими размерами луже. Над ней торчали, как вершины затопленных деревьев, стебли репейника.

Удивительнее всего было то обстоятельство, что эта сухая и сероватая вода начиналась в двух-трех метрах от машины, но шофер не сбавлял скорости, и вода все время убегала от машины с той же скоростью, с какой машина приближалась к ней.

Вода как бы сливалась с нашего пути. Это зрелище было утомительным и бросало в сон.

— Это мираж? — спросил я шофера.

Он с недоумением посмотрел на меня. Оказывается, он не знал слова «мираж».

— Да нет! — ответил он. — Просто степь показывает. Это еще что! А то иной раз она даже покажет море и целый лес на его берегу.

По пути к Элисте встретился только один саманный поселок. Мы объехали его по окраине.

Поселок перегревался на солнце. От него даже на расстоянии дышало мертвым жаром. Из трещин в стенах торчал окаменелый верблюжий навоз. Желтые калмыцкие борзые не гнались за машиной, а наоборот, поджав хвосты, трусливо прятались по дворам. Дети со страхом смотрели на наш пыливший

до неба грузовик. Кое-где в балках сочилась купоросная гнилостная вода.

Солнце светило тускло. Небо к полудню пожелтело и стало похоже на исполинский стеклянный колпак, замазанный охрой. Так в городах замазывают летом витрины, чтобы приглушить невыносимый свет.

Наконец показалась Элиста — новенькие кубические невысокие дома, разбросанные без заметного порядка по степному взгорью, как отара белых овец.

В Элисте я узнал, что сейчас главные усилия власти направлены на борьбу с болезнями, издавна губившими калмыцкий народ.

Медицинские отряды работали по аулам (скоплениям юрт и поселкам). Прежде чем лечить болезни, надо было отучить калмыков от колдовства и диких способов лечения. Так, например, от трахомы калмыки крепко натирали больные кровоточащие веки сахарным песком, а от туберкулеза прижигали кожу на спине тлеющим войлоком.

Туберкулезом болели главным образом женщины, из-за национальной женской одежды — казакина. Он туго, как железными обручами, стискивал женскую грудь с самых юных лет и не давал ей развиваться.

Кроме того, женщины носили на голове тяжелые шлыки, целые сооружения, и от этого у них часто бывал туберкулез шейных позвонков.

Незадолго до моего приезда в Калмыкию декретом Советского правительства женщинам было запрещено носить казакины и шлыки.

На обратном пути в Астрахань мы заночевали в степи, и я видел один из тех необыкновенных вечеров, которые бывают только в степных раздольях.

Ветер стих. Воздух сделался прозрачным до предела. Трава остыла от дневной жары и выдыхала прохладу.

Упала крупная роса. Крик перепелов равномерно и непрерывно обегал по кругу всю степь. Пахло мятой.

Шофер сказал мне, что за ближайшим увалом есть пресное озеро. Я спустился к нему, путаясь в высокой траве. Дружно чавкала в камыше рыба.

Садилось солнце, и казалось, последняя тишина опустилась на землю и я больше никогда не услышу ни человеческого голоса, ни гудка машины, ни рокота мотора.

В этом безмолвии ощущалось некоторое величие, будто вселенная отдыхала, встречая ночь.

Солнце садилось, но явно медлило. Может быть, оно хотело увидеть тончайшую световую нить, что непременно протянется от всегда неведомой первой звезды до поверхности озера.

Темнота упала как-то сразу. Всю ночь я ворочался и не спал, взволнованный медленным течением степной ночи. Оно становилось заметным по перемежению звездных сочетаний над головой. Созвездия плыли, едва вращаясь, вокруг невидимой оси мироздания.

Северные, низменные берега Каспийского моря и самое взморье — очепь мелкое в тех местах — заросли широкой полосой тростника — чагана.

Твердые черные его соцветия были похожи на маленькие початки кукурузы или, хотя это сравнение и несколько сложно, на эбонитовые валики от пишущей машины.

Издали эти заросли чагана казались черной широкой лентой, разложенной по берегу моря. Поэтому эти места здесь и зовут «чернями».

От устья Волги до Гурьева, лежащего в самых низовьях Урала, нет ни одной пристани, ни одного убежища, куда бы пароход мог зайти во время шторма. А, как известно, на мелких местах гуляет особенно крутая волна, и потому плавание вблизи «черней» неприятно и временами опасно.

Пароход «Гелиотроп» шел от Астрахани до Гурьева больше суток. Это был очень старый, заслуженный пароход с обилием медных частей. Медные поручни, обитые медью трапы, медные приборы и, наконец, огромный медный рупор, в который капитан перекрикивался со встречными рыбацкими шаландами и «рыбницами» — все это было начищено и надраено «до чертова глаза» и просто угцстало своим медным блеском.

На палубе, как и на волжском пароходе, лежали вповалку пассажиры.

Особенно много было пожилых женщин.

Говорили, что в устье Урала горят тростники и что их поджигают нарочно, чтобы уничтожить очаги несметного гнуса. Он не давал жить в тех местах ни людям, ни зверям.

На востоке как-то странно и тускло мигало небо.

Эти вялые вспышки были совсем непохожи на наши зарницы или на приближение грозы. Какая могла быть гроза, если воздух на сотни километров был лишен даже признаков влаги!

В устье Урала «Гелиотроп» вошел в сумерки. Он торопливо плыл мимо горящих тростников. Пламя трещало и перебегало вдоль берега, дым душил и разъедал глаза. Только в Гурьеве мы, наконец, отдышались, — в этом приземистом городке, где все краски давным-давно выгорели до цвета золы.

В Гурьеве я жил за Уралом, в новых домах, сделанных из прессованного камыша. Они ничем не отличались от обыкновенных каменных домов, за исключением неверия в их прочность людей, обитавших в них.

Со мной в одной комнате общежития Эмбанефти поселился бывший матрос Балтийского флота, латыш. Он приехал в Эмбу из Баку по каким-то нефтяным делам. Когда ночью подымался ветер, матрос будил меня и говорил:

— Полундра! Лучше не спите. А то этот карточный домик завалится и прищемит нас как котят.

Из Гурьева я ездил на Эмбу со старым нефтяником инженером-поляком Яблонским. Этот тучный, насмешливый и необыкновенно спокойный старик посвятил меня в удивительные и увлекательные тайны нефтяной разведки, нефтяных (соляных) куполов и всего, что было связано с добычей нефти.

Мы жили с ним вместе в поселке Доссор. В нашей комнате стекол в окнах вообще не было. Их заменили частой проволочной сеткой от гнуса. Когда задувал ветер с близкого Каспийского моря, из «черней»,

то гнус начинал лететь исполинскими тучами, приглушая солнечный свет.

— Что есть пустыня? — спрашивал меня Яблонский, лежа вечером на скрипучей койке и боясь пошевелиться, чтобы не стряхнуть с себя пыль — она густо оседала на нас за какие-нибудь полчаса. — Пустыня, — отвечал он самому себе, — это есть пыль. И еще раз — сплошная пыль. И гнус. И еще раз горячая и соленая пыль и отсутствие воды. Вы пробовали выплеснуть на здешнюю землю хоть немного воды? Да? Значит, вы видели, как вместо того чтобы всосаться в землю, она превращается в крупные капли, в шарики воды. Капли эти, похожие на ртуть, катаются и прыгают по пыли, как по горячей плите, и обрастают пылью, как шерстью. Вот так, дорогой мой! Вроде, как в стихах Киплинга об Африке. «Только пыль, пыль, пыль от шагающих сапог!» Дышать, конечно, нечем. Это следует откровенно признать. Поэтому не пойти ли нам на озеро, на вышки, сделать замеры и проверить выход нефти? Все равно играть в шахматы вы не умеете, а читать при свете этой белокровной лампочки — это значит вывихнуть себе глаза.

Я соглашался, и мы шли на соляное озеро, где на дамбах стояли вышки и нефтяные насосы, посапывая, качали из-под земли маслянистую коричневою с золотым отливом эмбенскую нефть.

Мне нравилось на озере. Вода в нем — густая и соленая — пахла крепчайшим йодом. В неярком свете фонарей, редко расставленных на дамбе, была видна осевшая на сваях розовыми кристаллами крупная соль.

Кроме йода озерная вода пахла нефтью. Запах этот вызывал обманчивое впечатление некоторой почной прохлады.

На самом же деле ночь была насыщена мельчайшей и теплой пылевой пудрой, и, может быть, от этой пыли свет фонарей приобретал душный жемчужный оттенок.

— Все, что вы видите здесь, — говорил мне Яблонский, — ничем не отличается от нефтяных промыслов в Маракайбской лагуне в южно-американской республике Венесуэле. Условия зарождения и залегания нефти и там и на Эмбе одни и те же. Поэтому и посылают туда на практику инженеров-нефтяников. В связи с этим оставьте ваши мечты о Венесуэле. Ничего лучшего, чем здесь, вы и там не увидите.

— Я никогда не мечтал о Венесуэле.

— Напрасно! — говорил Яблонский. — Мечтать нужно всегда. Но не бесплодно, конечно. Например, я приветствую все мечты об освоении пустыни. Особенно, когда они приобретают реальные формы, как сейчас у нас на Каспии — на Эмбе, на Мангышлаке и в Кара-Бугазе. В некоторых случаях нельзя природе предоставлять самой себе. Надо ею руководить для человеческого блага, но, конечно, не вмешиваясь в ее основные законы.

Счастье людей почти не зависит от хода цивилизации.

Счастье — категория вечная. Петрарка не был бы счастливее оттого, что услышал голос Лауры, записанным на пленку. Цивилизация только тогда даст свои великолепнейшие плоды, когда народы —

только сами народы и никто больше — будут хозяевами жизни и распорядителями своей судьбы.

В Доссоре, сидя на бревнах на дамбе и вдыхая душную тьму закаспийской ночи, мы говорили о покорении пустынь.

Потом у себя в комнате я читал допоздна затрепанную книгу стихов незнакомого мне тогда поэта Липскерова «Песок и розы». Кто-то из постоянно менявшихся жильцов комнаты забыл эту книгу в ящике стола и уехал.

Я читал медленно, повторяя и скандируя про себя строки его стихов о Средней Азии и Самарканде:

На земле нету места, грозней твоего Регистана,
На земле нету места, его голубей и нежней.
Возле синих преддверий читают стихи из Корана,
Винограды лежат под копытами мирных коней...

Яблонский крепко спал, скрестив на груди руки. Тишина ночной пустыни тонко пела в ушах. Только по временам было слышно, как на озере сопели бессонные насосы, откачивая из безжизненных недр земли липкую нефть.

Все дальнейшее путешествие по Каспию описано мною в книге «Кара-Бугаз» и в нескольких очерках.

Вся беда книг такого рода, как эта, то есть в автобиографиях, заключается в том, что в них почти невозможно избежать повторений.

Объясняется это тем, что все вещи, созданные писателями, в значительной степени автобиографичны.

Правильно, но несколько грубо, сказал мне по этому поводу писатель Александр Георгиевич Малышкин:

— Я рассказывал всю свою жизнь по разным рассказам и романам. И ничего даже не оставил себе, чтобы рассказать при случае любимой женщине или друзьям. Ужасно глупо! Как у Блока, помните? «Жизнь давно сожжена и рассказана, только первая снится любовь».

Поэтому я не буду повторять то, что читатель может прочесть в «Кара-Бугазе» или в очерках «Солнечные купола» и «Великая Эмба».

Если кто-либо из читателей задумает сравнить «Кара-Бугаз» и эти очерки с теперешними моими воспоминаниями, то пусть его не удивляет некоторая несхожесть их друг с другом.

Объясняется это, очевидно, тем, что тогда я был молод и многоречив, а сейчас, с возрастом, стал, если можно так выразиться, молчаливее в своей прозе.

И кроме того, теперешнее время бросило свой отблеск на прошлое, и прошлое предстало в новом виде,— пные краски померкли, а пные сгустились. Поэтому о поездке в Кара-Бугаз я ограничусь здесь самым коротким отчетом.

Из Гурьева я вернулся в Астрахань, а оттуда на таком же престарелом пароходе, как «Геллотрон» (название его я забыл) поплыл в Мангышлак и Красноводск.

На этом пароходе были мачты, оснащенные, как в старину, вантами. Пароход был тесен. Тепло от машины проникало во все его помещения, так же, как и запах шашлыка из камбуза.

Море было тихое, светлое.

Крестьян на палубе уже не было, но весь день там пили кахетинское вино какие-то шумные и толстые люди. Они везли в Красноводск сто мешков с картошкой и ни за что не хотели продать хоть немного этой картошки пассажирам и команде.

Кончилось это тем, что перед Мангышлаком кто-то ночью распорол ножом несколько мешков с картошкой, и она посыпалась, торопливо булькая, в море под яростные вопли проснувшихся мешочников.

Я ждал кровопролития, но хозяева мешков неожиданно успокоились и, напевая какую-то песенку, начали зашивать суровыми нитками разрезанные мешки.

Мангышлак, на первый взгляд, был классическим пеклом. Единственное, что мирило с этим спекшимся от жары голым местом, было воспоминание о Тарасе Шевченко. Здесь он томился в каторжном батальоне, и здесь он не потерял ни крупицы своего таланта, доброты и своей любви к Украине. Это казалось чудом, но это было так.

Дальше к югу мы шли вдоль берегов таких безлюдных и однообразных, что все невольно отводили от них глаза.

Куполом из неясных испарений прошел по горизонту Кара-Бугаз, а потом за черными зубцами скал Уфра открылся Красноводск,— пасть огнедышащего дракона, жерло испепеленной Азии с ее гипсовой землей и воздухом, густым и вязким, как глицерин.

А все, что было дальше,— иной раз в пескoлько сгущенном, иной — в неприкрашенном, а иной раз

и в несколько более угрюмом, чем в действительности, виде вошло в книгу «Кара-Бугаз».

Но единственное, на что у меня не поднялась рука, чтобы хотя немного расцветить и украсить свою прозу,— это на людей и события. Их я писал по мере сил точно и просто. Но я, как говорится, «отыгрался» на пейзаже. И не моя вина или заслуга, что я его видел до мелочей таким, каким написал.

Единственное, о чем нет ни слова в книге,— это о страшной, временами совершенно невыносимой тоске по Средней России.

Жара обжигала мне легкие, давила на мозг, солоноватая вода обдирала горло. Чудесная, как воздух после дождя, свежесть, помогавшая думать там, на севере, сменилась тугой, саднящей болью. Кровь как бы с натугой продиралась в сжатых мозговых сосудах и вот-вот могла остановиться.

В Красноводске по утрам, когда можно было еще двигаться, я ходил на вокзал, на станцию, и с тоской смотрел на раскаленные товарные вагоны. Они были единственной, как мне казалось, реальной связью с Россией.

Я сидел в тени, смотрел на вагоны, как маньяк, и слушал сухой треск винтовочных выстрелов. Треск долетал из Гипсового ущелья, куда вплотную подошли банды басмачей под командой знаменитого Джунаид-Хана.

Наши части вели бои с басмачами. Пули, по словам бойцов, упав на излете на землю, долго не остывали. Бой был короткий. Басмачи ушли в Персию, и снова безмолвие вернулось на наши берега.

И все вокруг казалось таким загустевшим от жа-

ры, что удивлял даже прибой, — было непонятно, как эта тяжелая морская вода могла собраться с силами и подняться, чтобы с шумом и изнеможением набежать на жаркий берег и, прошумев, отхлынуть назад.

ИСТОРИЯ С ГЕОГРАФИЕЙ

Однажды писатель Семен Григорьевич Гехт сказал мне, что у меня все романы и рассказы — сплошные «истории с географией». Я сгоряча не понял, хорошо это или плохо. Но вскоре успокоился, решив, что Гехт прав и ничего страшного в этом нет.

Я никогда не мог писать о людях вне обстановки, вне географических координат, вне пейзажа и самых простых явлений природы. Я не мог отделить человека от окружающей его разнообразной действительности, иначе этот человек тотчас умирал.

Я всегда удивлялся писателям, равнодушным к внешней обстановке, которая окружала их героев. Люди, вырванные из обстановки, казались мне ходячими схемами, наделенными одной редкой способностью, — они умели действовать и говорить вне малейшей зависимости от времен года, дождя или ветра, цветения садов или шторма у морских берегов, — вне зависимости от множества важных явлений, но как бы не имеющих цены для их внутренней жизни.

Мне всегда казалось, что такие литературные герои не живые люди, а подопытные существа для писателей и драматургов, взятые этими последними

для производства над ними жестоких экспериментов.

Что скрывать,— даже Достоевский грешил этим. Он нарочито ставил людей в мучительные положения, придуманные в тиши сумрачного и темного кабинета. О событиях этих он писал с газетной обнаженностью.

Природы почти совсем нет в его романах.

Рассказ, а иной раз и роман, построенный почти исключительно на диалоге, заставляет многих читателей просто задыхаться.

После этого вынужденного объяснения я спокойно могу поставить в начале главы заголовок «История с географией», потому что так оно и есть. Прошу только читателей не очень бранить меня, если в этой главе будет больше географии, чем истории.

«Кара-Бугаз» я писал урывками,— то в Москве, то в Березниках на Северном Урале, то в Ливнах.

В Москве я писал в темном чулане при электрической лампочке. Этот душный чулан был единственным тихим местом в крикливой коммунальной квартире.

Потом РОСТА послало меня своим корреспондентом на строительство огромного химического комбината в Березниках на Каме.

Против Березников на противоположном берегу Камы вяло курился полярным дымом древний город Усолье — бывшая столица Строганова, некоронованного уральского царя.

Некогда в Усолье Строганов отливал и чеканил собственные деньги,

В городе сохранились высокие бревенчатые башни — соляные варницы. В них выпаривали здешнюю соль.

Варницы почернели от времени. Стены их блестели, как антрацит. Огни строительства отражались в этих стенах в течение всей долгой полярной ночи.

Варницы были похожи на хмурых строгановских соглядатаев, оставленных здесь для надзора за новыми непрошеными хозяевами этой сумрачной земли. Соглядатаи стояли, надвинув на глаза тяжелые шапки — темные крыши, — и неодобрительно молчали.

На строительстве работали заключенные.

Строительство показалось мне непомерно огромным. Состояло оно из разных заводов — сернокислотного, каустического и нескольких других, из тепловой электроцентрали и целого государства больших разноцветных труб.

Стояла полярная ночь. Первое время я долго плутал в темноте среди котлованов, навала кирпичей, цементных плит, подъездных путей, железной арматуры для бетона, гигантских станин, ферм, недостроенных зданий, тепляков и экскаваторов.

Я с трудом находил дорогу к маленькой гостинице, оставшейся здесь со времен старого содового завода.

Гостиница эта была, хотя и теплым, но ненадежным приютом. В каждой комнате помещалось по 10—12 человек. Ночи напролет мы, трезвые, не спали из-за пьяных драк и скандалов.

Особенно изводил нас бывший актер, а ныне бухгалтер-старик, весь в седых игривых кудряшках, как некий спившийся купидон. Каждую ночь, вва-

лившись в комнату, он начинал швырять пустыми бутылками в электрическую лампочку под потолком и не успокаивался, пока ее не разбивал.

При малейшей попытке усювестить его, он приходил в пенстовую ярость и начинал швырять изо всей силы бутылками в своих соседей по комнате. А утром, чуть протрезвившись, едился к дощатому, заваленному объедками столу и, обхватив голову руками, пел, захлебываясь от слез:

Не говори, что молодость сгубила,
Что ревностью истерзана моей!
Не говори,— близка моя могила,
А ты цветка веселнего свежей...

Одна из комнат гостиницы называлась «изолятором». В нее помещали только непьющих.

В «изоляторе» никогда не было свободных коек. Но мне повезло, директор гостиницы без особых моих просьб втиснул меня в «изолятор».

— Подальше от греха,— сказал он.— Тут вас еще искалечат, а мне за вас отвечать. Вы ведь московский корреспондент.

В «изоляторе» я, наконец, вздохнул спокойно и смог отоспаться.

Соседом моим по койке был милейший человек — ссыльный химик, кажется приват-доцент. Он много беседовал со мною о поэзии, о стихах Маяковского и рассказах Алексея Толстого, был деликатен, тих, рассудителен и сильно тосковал по жене и маленькому сыну. Тоску свою он всячески старался скрыть от меня.

Однажды ночью я преснулся от стеклянного звука и открыл глаза.

Химик тихо доставал из тумбочки около койки бутылку водки. Очень осторожно он налил полный стакан и одним духом выпил его. Потом тут же налил второй стакан и так же бесшумно выпил.

Я притворился спящим. Химик несколько минут полежал тихо, потом быстро сел на койке и пронзительно закричал:

— Изверги! Собственным языком удавлюсь! Будьте вы прокляты, собаки!

Через час его увезли в больницу. Он долго сопротивлялся, и санитары его связали.

Второй мой сосед — старый морщинистый техник с военной выправкой сказал мне с укором:

— Какого лешего вы приперлись сюда? Подумай, какой любитель сильных ощущений! Сматывайтесь лучше в Москву.

Но несмотря на эту безрадостную обстановку, я встретил в Березниках много людей, преданных своему делу с таким же фанатизмом, какой я до тех пор встречал чаще всего среди художников. Работали в Березниках, как я уже говорил, ссыльные. Но ссылка — ссылкой, а работа — работой. Ссылное их состояние никак не отражалось на самоотверженности их работы.

Впервые, по словам химиков, они монтировали новейшие невиданные машины и установки. О них раньше они только мечтали или могли читать в заграничных научных и технических журналах.

Действительно, многое поражало непосвященных людей и казалось просто чудом.

Вскоре я более или менее узнал все строительство, все его заводы и цеха, подымался на крыши газ-

гольдеров, отравлялся окисями азота, ездил на паровозах-кукушках и тягачах и всегда носил с собой противогаз.

При малейшем незнакомом запахе, сочившемся неведомо откуда, надо было тотчас надевать противогаз, чтобы не задохнуться.

Вся эта жизнь на строительстве происходила во мраке северной ночи.

Стоял декабрь,— самый темный месяц на Севере.

Вначале эта долгая ночь мне нравилась. Особенно звонко в утреннем морозе перекликались голоса на разных языках (среди строителей комбината было много английских и немецких специалистов, выписанных из-за границы), свистели полозья саней, изредка в свете сильных фонарей из небесного мрака валил ливнями снег.

Иногда красноватым заревом горели непрочные и ускользящие северные сияния. Местные жители звали их сполохами и всполохами. Это последнее слово очень подходило к этим всполошенным, беспорядочно пульсирующим огням.

А за рубежом строительства ночь лежала так тяжело и беспробудно, что напоминала огромного зверя, который завалился на зимнюю спячку по диким увалам, буреломным лесам, по откосам гор. Там, как черные пагоды, стояли уральские гигантские ели и в звездные ночи дотрагивались своими вершинами до звезд.

Но звездное небо в ту зиму редко открывалось над строительством,— слишком много на земле было чада и дыма всех цветов и оттенков,— от канаресч-

по-желтого «лисьего хвоста» до фиолетовых, бурых, красных, белых и иссиня-черных дымов. Небо всегда было в дыму.

Настоящий Урал я увидел, когда поехал на несколько дней в Соликамск. Там в то время уже работали калийные копи.

То крутые, то пологие подъемы гор увязали в таком девственном снегу, что казалось, он выпал только этой ночью. На самом же деле снег лежал здесь уже долго, не меньше трех месяцев.

Милые заячьи следы скакали повсюду, но только до полотна железной дороги. Там они круто поворачивали обратно,— зайцы почему-то боялись перебежать через рельсы.

Чистое, но чуть затуманенное небо зеленело у края земли. Там, в сторону от железной дороги, лежали земли, до сих пор (во всяком случае, для многих и, в том числе, для меня) совсем неизвестные. Туда, в мгlistые дали уходила древняя Биармия — страна неуюта и грубого богатства — рудного и хвойного,— суровых людей, враждовавших с природой, отпетых и забубенных государевых ямщиков, золотоискателей, раскатывавших перед собой ковры по непролазной осенней грязи,— страна шалых обогащений и нищих изб. В них по ночам не затихал ровный шорох от полчищ рыжих тараканов.

Она была богата, эта страна, и потому считалась счастливой. «В лесах Биармии щастливой» находили много драгоценных камней. Здешний изумруд был чист и темен, как темен зеленый покров бесконечных, пугающих своей обширностью хвойных лесов. Резкий терпентинный запах этих лесов проникал далеко

за Пермь, за Вятку и Кострому, доходил до древней царицы-Москвы, пугал заморских купцов, казался им запахом медвежьим, устрашающим и горьким, как русская болотная ягода клюква.

Я думал об этом, глядя в окно распатанного холодного вагона, тащившегося вслед за чумазым паровозом из Березников в Соликамск. Я знал, что здесь происходило действие некоторых рассказов Мамина-Сибиряка и, насколько я знаю, действие повести Бориса Пастернака «Детство Люверс».

Должно быть, только в России бывает так, что один и тот же источник мыслей и чувств (в данном случае Северный Урал) вдохновляет двух таких несхожих писателей. Но у них есть и нечто общее — острое ощущение России с ее утренниками, от которых сводит челюсти, и непрерывным холодным лепетом листвы лиственных лесов.

Соликамск. Бешеная гонка мохнатых троек от маленького вокзала до сурового городка, красные валенки ямщиков, пронзительный присвист, бой ошалелых бубенцов под расписными дугами — «знай наших, держись крепче, не робей на крутых бросках!». Сани раскатывает и заносит так, что замирает сердце.

На улицы Соликамска мы влетели уже ночью. Помчались мимо одинокие и яркие электрические фонари, низкие каменные дома, похожие на лабазы, белые алебастровые соборы, чугунные доски, висевшие на низких столбах на перекрестках улиц. В эти доски сторожа в тулупах мерно отбивали ночные часы.

Монастырское подворье, превращенное в гостини-

цу, сводчатые коридоры, пропахшие вековым деревянным маслом, холодноватая келья, — там мне отвели койку. На соседних койках спали в полутьме две девушки — практикантки из Ленинграда.

Обе они показались мне красавицами, очевидно, потому, что у них обеих разметались по подушкам золотые косы. В то время почти все молодые женщины уже стриглись под мальчишек, и поэтому эти косы показались мне особенно трогательными.

Я тихо лег, чтобы не разбудить девушек, и долго не мог уснуть, слушая, как они то спокойно дышат, то вздыхают во сне. И почему-то обе они представлялись мне, хотя я их и не видел, очень родными, как мои младшие сестры.

Сторожа били на перекрестках. Ночь лила в окна таинственный свет. И я благословлял эту крошечную ночь в этой немыслимой русской глуши за теплоту девичьего дыхания — мне все чудилось, что я слышу его едва заметный ветерок на своем лице, — за легкую свою дремоту, за счастье ощущать рядом с собой целомудренную свежесть этих двух девушек, их легковейный задумчивый сон.

Утром, когда я проснулся, девушек уже не было.

Я уехал на калийные копи, спускался в очень глубокие штреки, вырубленные в толще прозрачных, сверкающих топазов и аметистов (таков был цвет калийных солей — карналлита и сильвинита), видел слепых подземных лошадей, покорно таскавших вагонетки с породой, в иных местах меня чуть не сбивало с ног подземными сквозняками.

Я долго бродил по широким и пустынным штольням, как по сказочным дворцовым помещениям, пе-

реливавшим на своих стенах множество звездчатых золотых и кроваво-винных огней.

Нарядность этих подземных галерей, их чистота и блеск, свежий воздух, дувший из невидимых труб, — все это делало их действительно похожими на дворцовые переходы.

Они вели, естественно, в нарядные балльные залы. Ничего бы не было странного, если бы я услышал в их глубине приглушенные звуки оркестра, женский смех, треск закрываемых вееров и легкий стук туфелек Золушки, убегаящей из этого пышного дворца.

Я взял с собой на поверхность несколько больших кристаллов карналлита и сильвинита, но у меня в гостиничной келье они растаяли, как сахар, и превратились в цветную мутную воду.

Мне не хотелось уезжать из Соликамска. Мне очень понравился этот суровый город. Я надеялся встретить еще хоть раз ленинградских девушек, но сторож при гостинице — суетливый и косноязычный бывший монах — сказал мне, что они уехали дальше на север, в Чердынь.

Я переночевал еще одну ночь в келье, где от девушек остался только слабый запах «Красной Москвы», а ночью меня разбудил новый постоялец. Он стаскивал сапоги лежа, зацепив их за железную спинку кровати, кряхтел и сотрясал всю комнату. Мне захотелось вышвырнуть его вон.

Утром я уехал в Березники. Необъяснимая грусть преследовала меня потом несколько дней. До сих пор воспоминание о Соликамске вызывает у меня легкую печаль.

В Березниках я ходил по вечерам в редакцию маленькой газеты, выпускавшейся на строительстве, и писал там «Кара-Бугаз».

Редакция помещалась в старом пустом бараке, в каморке за дощатой перегородкой. Я запирался на огромный железный крюк и чувствовал себя в безопасности.

Ранней весной я вернулся в Москву, написал заказанные мне «Рабочей газетой» очерки о Березниковском строительстве (они потом вышли отдельной маленькой книгой под названием «Великан на Каме») и тотчас уехал к Шацким в Ливны, чтобы окончить там «Кара-Бугаз».

В Ливнах все было по-старому и потому особенно мило. Сначала я поселился на окраине городка, снял комнату в большом деревянном доме. Весь дом от ходьбы шатался и скрипел и с минуты на минуту мог обвалиться. Кроме того, в нем происходили разные печальные события (о них я писал в «Золотой розе»). Поэтому Нина Дмитриевна перетащила меня к себе.

Снова нежная весна, как год назад, робко раскрывала почки, как маленькие и чуть липкие детские губы, а солнце просвечивало насквозь через цветы яблонь. На свету они казались розоватыми и хрустящими, как облатки. Но это время тоже описано мной в «Золотой Розе», а все, что связано с «Кара-Бугазом», — в одноименной книге.

Если собрать воедино все дни, потраченные мной на написание «Кара-Бугаза», то в общем получится, что написал я его быстро, — за три месяца. Издало его детское издательство. Редактором был бывший

балтийский моряк-эстонец Генрих Эйхлер. Его хорошо помнят все так называемые «детские писатели» старшего поколения. Он всем им сделал много добра. В начале войны он был сослан под Караганду и там вскоре умер. Сослали его потому, что кто-то донес, будто он не эстонец, а немец.

Первым откликнулся на «Кара-Бугаз» Сергей Третьяков. Он прислал мне в подарок свою книгу с надписью «Мирабилиту русской литературы». Мирабилитом называлась крепкая соль, оседавшая в Кара-Бугазском заливе.

Я испугался. Я вообще с некоторым почтительным страхом, как мальчик к взрослому, относился к решительному и всегда знающему, что делать, Третьякову. А тут еще начались какие-то читательские конференции по «Кара-Бугазу», и я, бросив все, сбежал в Мещерские леса, в Солотчу. Я был свободен — после поездки в Березники я совсем ушел из РОСТА.

В Солотче я отсиживался вместе с Фраерманом на самых глухих старицах Оки.

Мы с наслаждением жили там под тенью столетних раkit, спали на сене, пили совершенно волшебный и неслыханно вкусный напиток — чай, вскипяченный в котелке с попавшим в него пеплом и комарами, и были счастливы.

ПУШЕЧНЫЙ ЗАВОД

В Мурманске пахло мороженой картошкой и слабой анисовой микстурой. Этот сладковатый и неприятный запах исходил, очевидно, от Баренцева моря.

Темные и тяжелые волны этого неприветливого моря отливали железным блеском. Я не завидовал тем людям, которые впервые в жизни увидели именно это море, тогда как им следовало бы увидеть Черное море или хотя бы Азовское.

Люди часто несправедливы не только по отношению к себе подобным, но и к явлениям природы, в частности к морям. Азовское море принято считать лужей и болотом. Между тем оно очень теплое и рыбное, а в западной своей части отличается зеленоватой водой яркого и красивого тона. Особенно заметен этот цвет азовской воды, когда крутые волны поднимаются прозрачным гребнем, чтобы упасть на ракушечные пляжи, и сквозь воду просвечивает солнце.

Но Баренцево море ничем не радовало. От его близости лицо сводило режущим холодком, хотя уже был май и белые ночи установились под этими широтами. Но они совершенно не были похожи на белые ночи Ленинграда. Призрачность и задумчивость исчезли из них. Остался только жесткий свет — ледяной, как талая вода.

Мурманск в то время (весной 1932 года) был бревенчатый, заваленный щепой, и беспорядочный.

В новой, только что срубленной гостинице постельцы прилипали к смолистым стенам.

В Мурманск я попал без особой нужды. Если бы этот город не стоял на краю земли, па полярном океане, и в нем не кончалась бы железная дорога, то я мог бы сказать, что попал в него мимоходом.

Я поехал на север, в Карелию, писать историю Онежского завода. Завод этот находился в Петро-

заводске, и дальше этого города мне не надо было заезжать. Но неистребимое любопытство заставило меня сначала заехать в Мурманск. И я не жалую об этом.

Я видел Баренцево море, каменные берега, заросшие каменными лишаями, и тундру за Полярным кругом. Она была похожа на исполнинские воешние кладбища после первой мировой войны. Но на ней вместо крестов торчали хилые стволы берез с отломанными вершинами, вернее, гниловатые березовые шесты. Верхушки берез в тундре высохали и отваливались сами.

Я видел огромный рыболовный флот и северные горы около озера Имандра, видел оленей, у которых было нечто общее с кроликами, так как и тех и других трудно считать настоящими, полноценными животными, настолько они казались мне слабосильными.

Я видел кромку серого океана, остров Кильдин и свинцовое небо, разглаженное непрерывными ветрами.

Да, нужны были большое мужество и выносливость, чтобы добровольно обречь себя на постоянную жизнь в этих местах. Мне все время не хватало тепла — обыкновенного тепла от самой обыкновенной русской печки, самого скудного уюта, который выражался бы в чашке крепкого кофе, последнем номере «Огонька» и в неподвижных глянцеvitых листьях фикуса.

В конце концов, прожив в Мурманске несколько дней, я сбежал на юг, в милый, хлебосольный и неторопливый Петрозаводск.

Писать историю Онежского завода мне предло-

жила «Редакция по истории фабрик и заводов», придуманная Горьким.

Из большого списка заводов я, в силу своей несколько мальчишеской настроенности, выбрал Онежский завод в Петрозаводске, потому что завод был очень старый, основанный еще Петром Первым сначала как пушечный и якорный, потом как завод чугунного литья (на нем отливали ограды для петербургских набережных и садов), а в тридцатые годы он делал дорожные машины-грейдеры, что было делом нужным и благородным в бездорожной России.

В Петрозаводске я занялся историей этого завода. В его станках, машинах, в постройках и в самых заводских нравах существовало удивительное смешение разных времен — от Петра до начала двадцатого века.

Я много бродил по городу без всякой цели и, можно сказать, «выбродил» в Петрозаводске замысел своей книги «Судьба Шарля Лонсевиля».

Об этом я подробно писал в той же «Золотой розе». Я слишком часто ссылаюсь на эту книгу потому, что она насквозь автобиографична и могла бы быть одной из частей «Повести о жизни».

Если бы мне было дано в будущем много свободного времени, я бы наверняка написал историю многих книг.

Дело в том, что каждая написанная книга является как бы ядром некоей отбушевавшей в человеке туманности, звездой, которая родилась из этой туманности и приобретает свой собственный свет.

Может быть, только одну сотую нашей жизни

мы вводим в тесные рамки наших книг, а девяносто девять сотых остаются вне книг и сохрщаются только в нашей памяти бесплодным, но, несмотря на это, все же значительным и драгоценным грузом.

Бессильное сожаление о том, что мы могли бы сделать и чего мы не сделали по лености, по нашему удивительному умению убивать время на малые житейские необходимости и заботы, приходит к нам, как правило, слишком поздно.

Сколько мы могли бы написать интересных вещей, если бы не тратили время на пустяки!

Как-то писатель Александр Степанович Грин решил подсчитать, сколько времени человек тратит в течение жизни на то, чтобы спрашивать «который час?». По его подсчетам, один этот вопрос отнимает у нас несколько дней. Если же собрать все непужные и машинальные слова, какие мы произносим, то получатся целые годы.

В механике существует понятие «коэффициент полезности». Так вот, у человека этот «коэффициент полезности» ничтожен. Мы ужасались, когда узнавали, что паровоз выпускал на воздух без всякой пользы чуть ли не 80 процентов пара, который он вырабатывал, но нас не пугает, что мы сами «выпускаем на воздух» девять десятых своей жизни без всякой пользы и радости для себя и окружающих.

Но эти попутные мысли тоже мешают и уводят в сторону от повествования. Вернемся к нему.

Из Петрозаводска я ездил на водопад Кивач и видел эту, по словам Державина, «алмазную сыплющуюся гору».

Я видел много озер с водой цвета олова, дышал

запахом корья, пропитавшим всю Карелию, слушал старую сказительницу из Заонежья, чьи песни рождались из северной ночи и северной женской тоски, видел нашу деревянную Флоренцию — церкви и монастыри, плавал по Онежскому озеру и до сих пор не могу избавиться от впечатления, что оно заколдовано и осталось нам от тех времен, когда первозданная тишина земли еще не нарушалась ни одним порохом взрывом.

Я ни на минуту не терял ощущение этой страны, погруженной в рассеянный северный свет.

Жизнь в Петрозаводске в то время была пустошной и довольно голодной. Я жил и питался в столовой Дома крестьянина пареной репой без соли и растертой в зеленоватую кашу вареной ряпушкой. Пища была тошнотворная.

Дом крестьянина был построен лучшими лесорубами. Они украсили его стены великолепной северной резьбой. По вечерам в большом зале, пахнувшем воском, устраивались танцы. Каждый раз на них появлялись высокие и сильные русоволосые девушки-карелки в тугих корсажах и легких разлетающихся юбках.

Я однажды решил и протанцевал с одной из них и долго не мог забыть ее бледное, обморочное лицо, полуприкрытые синие глаза и теплоту ее крепкого бедра. Окончив танцевать, она шаловливо сжала тонкими ладонями мое лицо и убежала. Я не мог ее больше найти.

В рабочем поселке Голиковке в бывшей церкви был устроен краевой музей. Там рядом с огромными

обломками розовой и золотистой слюды были выставлены кружева и образцы тяжелого и великолепного чугунного литья.

В этом музее, где я бывал в полном одиночестве (кроме старой сторожихи, там почти никогда никого не было), я понял, что до тех пор я вел себя в музеях, как и большинство посетителей, неразумно и утомительно. Я пытался по возможности рассмотреть все. Через полчаса начиналась тупая головная боль, и я уходил разбитый и опустошенный.

Нелепым было уже самое искреннее мое стремление узнать за два-три часа все то, что создавалось целыми веками и накапливалось людьми тоже в течение многих и многих лет.

После первого знакомства с Эрмитажем, а затем с Лувром и другими картинными галереями и музеями я пришел к мысли, что музеи в том виде, в каком они существуют, как несметные собрания человеческих шедевров и природных редкостей, приносят мало пользы. Они приучают к верхоглядству, к поверхностному знанию и к беглым — самым бесплодным — впечатлениям.

Я думал, что разумнее всего устраивать небольшие музеи, посвященные всего нескольким художникам или даже одному (как музей Родена в Париже, Голубкиной в Москве), или определенному и не очень длительному времени в нашей истории, или, наконец, одной какой-нибудь области знания и географической области страны, — Северу или Поволжью, Кавказу или Дальнему Востоку.

Гораздо более живое впечатление остается, скажем, от руин древних городов, чем от собраний ве-

щей, связанных с этими руинами и выставленных в витринах.

Ветер, дующий над остатками древних базилик, неизменная горечь полыни, шершавые теплые лишай, глухие дрозды, что пытаются склюнуть маленьких ящериц, высеченных древними мастерами на потемневших мраморных колоннах, текущая над головой синева пустынного неба — все это погружает в мир величавой поэзии, в область далекого прошлого, которое неожиданно оказывается очень близким. Мы легче понимаем прошлое под открытым небом, чем в залах с блестящими паркетами.

Я испытал это чувство в Помпее, Херсонесе, Таврическом, в руинах Никополиса в Болгарии и в Сан-Реми в Провансе, где лягушки скачут из-под ног в бездонные римские цистерны с черной водой.

В Петрозаводске, бегло осмотрев музей, я выбрал для изучения слюду — прозрачный, слоистый и гибкий, и потому странный — минерал, отливающий разнообразным живым блеском.

Сначала я долго рассматривал разные сорта слюды — от черной до золотой и от фиолетовой и темно-зеленой до дымчато-белой. Внутри тончайших слюдяных пластинок можно было увидеть много волосяных трещинок, образовавшихся по каким-то неведомым законам.

На следующий день я пошел в некое учреждение — не помню его замысловатого названия, — ведавшее добычей слюды. Там удивились, но дали мне всю слюдяную «литературу» и щедро подарили несколько кусков разноцветной слюды.

Она легко расщеплялась на тончайшие, почти микроскопические пластинки. Самым удивительным было то, что эти пластинки, отделенные от большого и тяжелого куска совершенно черной слюды, оказывались белыми и прозрачными.

Я прочел все, что достал о слюде, обо всех ее замечательных и даже таинственных свойствах. Это знание само по себе радовало меня, хотя я сначала и не собирался его использовать.

Правда, знакомство со слюдой прибавило к облику Карелии несколько поэтических черт. Я видел перламутровый блеск слюды во всем, — в воде Онежского озера, в гранитных «бараньих лбах» (в них она мелко поблескивала, будто ее рассыпали миллионы лет назад и она впаялась в непробиваемый камень), в самом воздухе, белесоватом от светлых ночей в звездном небе над Карелией, — оно искрилось и преломлялось, как сквозь черную слюду. Даже дожди, изредка проливавшиеся в ту весну, походили на падение бесчисленных чешуек слюды.

Потом я решил написать книгу о слюде. В то время многие увлекались книгами французского писателя Пьера Ампа. Он выпускал живописные романы о разных производствах, например об изготовлении духов на юге Франции.

Я хотел написать такую же, примерно, книгу о слюде. И я бы ее написал — в молодости все возможно, — если бы раньше не начал писать две маленькие книги, родившиеся в моем воображении на севере «Судьбу Шарля Лонсевиля» и «Озерный фронт».

Работая над этими книгами, я испытал странное

состояние. О нем значительно позже я прочел в статье какого-то исследователя литературы.

Стоило мне сесть за стол, взять ручку и написать несколько слов о Карелии, как тотчас же я начинал чувствовать запах сосны и можжевельника. Он откуда-то проникал в комнату, хотя вокруг не было ни сосен, ни можжевельника, а только доцветали липы (это было в Солотче).

Иногда я подолгу сидел за столом, задумавшись, в оцепенении, потом внезапно приходил в себя, будто стряхивал навязчивый сон, и долго старался вспомнить, что же происходило со мной в те несколько минут, когда я, отложив перо и подперев голову руками, сидел над своей рукописью.

И вдруг я вспомнил. Я же сидел, опустившись на корточки, на обочине лесной дороги и старался очень осторожно развернуть спиральный побег молодого папоротника. Зачем? Чтобы вдохнуть наглухо запертый в нем глоток прохлады. Все вокруг пахло сосной. Сорванные с можжевельника прошлогодние сохшиеся ягоды тоже пахли сосной и пахли еще оперением тетеревов, — диким запахом непролазных чащоб и болот. Так случалось несколько раз.

Это состояние не было сном. Оно было как бы полуявью. Она переносила меня на глухие просеки Карелии или к слабенькому плеску, вернее, всплеску, ее всегда серебрищихся у берега озер.

Я жил как бы внутри того материала, из которого рождалась книга. Я был болен им. Тоска по глотку озерного воздуха, по ощущению прохлады на лице от листьев березы — достигала такой силы, что мне трудно было удержать себя, чтобы не вскочить с мес-

та, не броситься на вокзал и не вернуться в северные леса и хотя бы два-три часа провести в них, задыхаясь от их очарования и слушая крик кукушки, похожий на звонкое капание слез.

«Пусть медленно гаснет, — думал я, — олоонецкая тишайшая заря. Одной минуты этой зари достаточно, чтобы заморозить человека на всю жизнь».

Из Петрозаводска я уехал в Ленинград, а оттуда по Мариинской системе вернулся в Москву.

На Охтенской пристани в Ленинграде я сел на маленький «озерный» пароход.

Пассажиров почти не было. В салоне сидел один только хмурый человек — заготовитель живицы для скипидарного и канифольного производства, — и настойчиво пил из маленьких бутылок черное пиво — эль. Тогда эль впервые появился в продаже.

И заготовитель и все остальные пассажиры — очень молчаливые люди — почти не смотрели по сторонам, — должно быть, они бывали здесь часто. А между тем по берегам Невы проходили непрерывной полосой леса. Тут, то там они расступались, чтобы дать место запущенному парку с остатками великолепного дворца или гранитной лестнице, спускавшейся к самой воде. В трещинах лестницы цвет пунцовый кипрей.

За Шлиссельбургом пароход вошел в Ладожское озеро. Небо слилось с водой в сероватую и теплую мглу. Среди этой редкой мглы медленно возник из воды старинный полосатый маяк.

Снова вернулись ко мне мои глупые мечты, чтобы

бросить все и поступить маячным сторожем. Я был уверен, что выдержу одиночество, особенно, если заведу на маяке библиотеку из отборных книг. А время от времени я, конечно, буду писать.

Я всматривался в маяк и долго провожал его глазами. Капитан — тоже молчаливый северный «окающий» человек — дал мне бинокль, оклеенный черной кожей. Я старался увидеть в этот бинокль то, что происходило на маяке. Но там, должно быть, ничего особенного не происходило.

С маячного балкона, где висел большой позеленевший колокол, нам послышались флаги, и мы ответили. Оказывается, нас просили передать на попутную пристань Свирицу, чтобы на маяк прислали солярку и побольше папирос «Пушка» (были тогда такие папиросы — очень толстые и действительно похожие на стволы маленьких пушек).

Мне понравилось, что в окне маяка, высоко над урезом воды, цвела в ящике всеобщая любимца-герань. Очевидно, на маяке жила женщина, но я ее не видел.

Потом, ближе к сумеркам, началось таинственное перемещение воздушных пространств. Облаков не было. Мгла рассеялась, но взамен нее какое-то розовое слоистое сияние легло на поверхность воды и начало медленно разгораться, пока вся западная половина неба и воды не наполнилась красноватым блеском заката.

Я еще никогда не видел такого затяжного заката, — он не погас, оставался на небе до утра и как бы опустил на озеро тишину.

В тихом сумраке на пароходе зажглись бортовые

огни, совершенно, по-моему, ненужные, так как все было ясно видно вдаль на добрых пять миль.

Нам повезло. Дневной штиль перешел в ночной, еще более спокойный. Не плеснула ни одна волна. Только вода тихо булькала за кормой.

Капитан сказал мне, что я, очевидно, человек счастливый, так как на Ладоге редко бывает такая погода. Иной раз так штормит, что впору Баренцеву морю.

На бурной Свирь встретился порожистый плес, где мы подымались двойной тягой. Наш пароход изнемогал, работая полным ходом против течения. Ему помогал мощный буксир.

Я помню длинные, вытянутые вдоль реки свирские рыбачьи посадки, лодки с посами, изогнутыми, подобно лебединым шеям (как на древних новгородских ладьях), пенне женщин, бивших на плотках вальками белье.

Я часто смотрел с палубы на север, в сторону Олонца — лесистой, небогатой и, как говорили в старину, — «забытой людьми и богом» земли.

Мне давно хотелось попасть туда. Почему-то мне всегда казалось, что именно там со мной случится что-то очень хорошее.

Таких мест, где обязательно должно случиться что-то хорошее, становилось у меня с годами все больше. В конце концов, я чувствовал себя в своем воображении старожилom многих мест.

В каждой области, в каждом краю я отыскивал самый привлекательный угол и как бы «оставлял его за собой». Большею частью это были малоизвестные места: на севере — Олонец и Каргополь, Кирилло-

Белозерский монастырь и Чердынь, в Средней России — милый город по имени Сапожек, Задонск, Наровчат, в Белоруссии — Бобруйск, на северо-западе — Гдов и Остров и еще много других мест. Столько, что мне не хватило бы жизни, чтобы побывать всюду.

Олонецкая земля лежала сейчас передо мной, — застенчивая, скудная. Ветер, поднявшийся к вечеру и доносивший холодноватый воздух дождя, гнул прибрежные кусты ивняка и порывисто шумел в них.

В городе Вознесенье на Онежском озере мы, пассажиры, пересели на совсем маленький, так называемый «канавный» пароход по названию «Писатель». Он пошел в обход Онежского озера по обводному каналу в город Вытегру и дальше — по Марининской системе.

Пароход был стар до того, что на нем не было не только электрического освещения, но даже керосиновых ламп. В каютах горели в жестяных фонарях парафиновые свечи.

От этих свечей ночи сразу стали гуще и непроницаемее, а места где мы плыли — глуше, бездорожнее и безлюднее. Да оно и действительно было так.

Я выходил ночью на палубу, долго сидел на скамейке около сипевшей трубы, смотрел во тьму, где шумели бесконечные невидимые леса, где не было видно ни зги, и мне казалось, что я каким-то чудом попал из двадцатого века во времена Ивана Калиты и что если сойти с парохода, то тут же пропадешь, затеряешься, не встретишь на протяжении сотен километров ни одного человека, не услышишь чело-

веческого голоса, а только лай лисиц да волчий вой.

Глушь началась за городком Вытегрой.

Этот бревенчатый городок, заросший муравой, будто богатым зеленым ковром, был ключом Мариинской системы. Всюду равномерно шумела вода, сливаясь с покрытых тиной плотин. На скатах стояли белые суровые соборы. В садах росли вековые березы. К сумеркам старухи в черных платках рассаживались на лавочках у ворот, плели кружева и поджидали коров. Улицы пахли парным молоком. На старом каменном доме со сводами, где помещалась теперь рабоче-крестьянская инспекция, висел почтовый ящик малинового цвета с белой надписью: «Ящик для жалоб на лиц, пренебрежительно относящихся к пролетариату».

Я сфотографировал этот странный ящик, но через год, когда я второй раз проезжал через Вытегру, его уже не было.

Погожим и прохладным утром, как любили писать наши предшественники — добродушные и обстоятельные писатели времен «Нивы» и «Живописного обозрения», — я проснулся в своей каюте и посмотрел в окно. Мне показалось, что я все еще сплю и вижу смешной детский сон: «Писатель» медленно плыл по узкому каналу, как по лотку, а внизу под парходом проезжали с одной стороны на другую, скрипучие телеги с сеном. Здесь канал действительно был заключен в лоток и поднят над окружающей местностью.

За телегами с сеном трусили, как водится, мохнатые собаки и обиженно лаяли на пароход. Возницы с гикашем нахлестывали лошадей таких же мохна-

тых, как и собаки. Лошади переходили на рысь, обгоняли пароход, а возницы свистели и гоготали.

Когда рулевому надоел насмешливый гомон и свист возниц, он высунулся из своей застекленной будки и закричал:

— Охламоны! Лапотники-икотники! Сунься хоть один на пароход, выкинем к лешему,— тогда дуй пешком двести верст до Белозерска! Я ваши фотографии крепко запомнил.

Возчики тотчас стихли и начали отставать. На пароход они даже не смотрели, отводили от него глаза. Неровен час, действительно, сунешься на пароход и получишь по шее.

Вскоре после этого случая началась знаменитая крутая «лестница шлюзов». Они были расположены близко друг к другу, почти «впритык». Чтобы одолеть эту водяную лестницу, «Писателю» понадобился почти весь день.

Пассажиры сошли на берег и пошли к самому верхнему шлюзу пешком. Там они дожидались парохода, чаевничали в соседней деревушке, а кое-кто и выпался на сеновалах. Женщины собирали по дороге цветы, а одна, самая шустрая молодая, сбегала в знакомое село и принесла оттуда кошелку яиц.

Потом мы прошли вдоль берегов Белого озера. Оно и вправду было белое, но со слабой синеватостью, как снятое молоко.

Временами от легкого ветра оно морщилось и покрывалось разводами черни, будто над ним мудрили старые северные мастера-чернильщики. Уже в то время секреты нанесения черных узоров на серебро были потеряны. Говорили, что только в Устье Ве-

ликом остался один престарелый чернильщик, но у него будто уже нет, как в прежние времена, учеников.

А иной раз востер, ударяя, очевидно, по воде сверху, покрывал ее другим — звездчатым — узором. Таким узором в те же самые прошлые, но недалекие от нас времена, украшали большие, обитые белой жестью сундуки для домовитых хозяек.

Еще и сейчас в маленьких городах можно увидеть эти сундуки со звонкими запорами, со знаменитым поющим замком. Одним из свойств этого замка была протяжность звука, — сундук уже закрыт, а еще звенит и звенит, будто в нем пересыпаются колокольцы и червонцы.

Секрет этого узора на сундуках, так называемого «мороза», тоже забыт. Любители этого редкого народного искусства только вздыхают. Никто не заботится, чтобы его воскресить. Да и вкусы изменились. Вряд ли теперешняя молодая колхозница купит такой сундук для своих парядов.

Белозерск был стар, спокоен, зарос крапивой и лебедой, и даже приход «Писателя» не внес оживления на его пристань. Только мальчишки — за что им честь и хвала — толклись на берегу и пытались прорваться на пароход, чтобы посмотреть в сотый раз паровую машину. Но их не пускали.

Казалось все, кроме любопытных веснушчатых и остроглазых мальчишек, погружено в этом городке в дремоту.

«Писатель» вошел в Шексну, в издавно обжитые места с большими почтенными селами и каменными

церквами на высоких берегах, с рудыми крутоярами и соснами на них, с бледными небесными далями, заполненными разноцветным хороводом облаков.

В вышине дул ветер, облака неслись и перемещивались в бегучем свете солнца, и потому небо походило на огромное лоскутное одеяло.

На пристани в Пошехонье — этот городок со времен Салтыкова-Щедрина считался образцом захолустья — на пароход пришла экскурсия школьников из какой-то отдаленной деревни. Молодая учительница говорила детям:

— Пуще глядите! Запоминайте! Это вот паровая машина, что горячий конь. Глядите, как блестит стальными коромыслами. Будущей весной повезем вас на пароходе в самый Череповец. Надо вам ко всему привыкать.

Лица детей пылали жаром от радости, а одна маленькая девочка с тремя косичками спросила нараспев:

— А она может, что ль взви-и-ться под небеса, эта машина, ежели сильно крутануть колесо?

— А ты попроси механика,— посоветовал ей заготовитель живицы — он все еще ехал на «Писателе».— Он крутанет, и мы улетим под самые тучи.

— Не! — ответила, подумав, девочка.— Не хочу. Я земная.

Ночью на Шексне я не мог уснуть. Берега гревели соловьиным боем. Он заглушал хлопанье паровых колес и все остальные ночные звуки.

Переливы соловьиного свиста непрерывно неслись из густых береговых зарослей, из мокрых ольховых

кустов. Иногда пароход шел под самым берегом и задевал гибкие, свисавшие над водой ветки. Но это несколько не смущало соловьев.

Такого роскошества, такого безумного и вольного раската заливных звуков, такого пиришества птичьего пения я не слышал ни разу в жизни.

В Москву я вернулся с сожалением, понимая, что после стольких поездок я уже пропал и долго усидеть на одном месте никогда, быть может, до конца жизни, уже не смогу. Так оно и случилось.

ПЛАМЕННАЯ КОЛХИДА

Деревянная гостиница в Потн пошатывалась и потрескивала, будто от землетрясения.

Низенький и толстый заведующий гостиницей Васо — престарелый гурнец — очень сердился на жильцов, если они шумно сбегали с лестницы, да еще при этом напевали модную в то время песенку:

Мы на лодочке катались,—
Золотистый-золотой.

— Зачем прыгаешь, как дикий кабан, кацо! — кричал старик. — Крыша свалится на голову, — что будешь делать без крыши и головы?

Вспыльчивый Васо вечно препирался с такими же вспыльчивыми жильцами. Скандалы возникали внезапно, как взрыв. Они обыкновенно начинались на ломаном русском языке, потом, разгоревшись до высокого накала, переходили на грузинский, а

заканчивались таким бешеным потоком щелкающих и чмокающих звуков, что в этом яростном клетоте терялись последние признаки какого бы то ни было языка.

Скандалы стихали так же внезапно, как начинались, будто с размаху захлопывалась непроницаемая дверь.

Над конторкой у Васо были приколоты кнопками к стене открытки с «Типами старого Тифлиса». То были рисунки неизвестного, но безусловно талантливого художника.

Открытки эти Васо решительно отказывался продавать. Он развесил их ради удовольствия.

На одной из открыток был изображен, между прочим, круглый, стриженный ежиком и сердитый старик, очень похожий на Васо.

Широкие серые шаровары Васо, стянутые у щиколотки, раздувались на нем пузырями. На шаровары были натянуты белые носки на розовых подвязках. Кавказский пояс с серебряным набором свободно лежал на животе у Васо и во время крикливых скандалов подсакивал, как бы участвуя в перебранке.

Тотчас после моего приезда Васо вошел ко мне в помер с огромной пухлой книгой для записи постояльцев.

Он начал вписывать меня в эту книгу красивой грузинской вязью и сердито спросил:

— Зачем в Поти приехал?

Я объяснил ему, что приехал в Поти для работы над книгой об осушении колхидских болот. Васо почему-то начал сердиться.

— Что ты поешь мне про болото, кацо! — закричал он.— Ты говори сразу, зачем приехал?

Я повторил, что приехал изучать осушение Кольдидской низменности.

— Ты думаешь, я не знаю, зачем ты приехал? — еще громче закричал Васо.— Ты думаешь, что я старый ишак и поверю, что ты приехал копать болота. Говори правду, смотри мне прямо в глаза,— или не будет тебе комнаты в гостинице!

Васо швырнул мне обратно мое удостоверение. Начинался очередной скандал. Пришла задыхающаяся старуха — жена Васо. Она сложила на груди руки, с мольбой посмотрела на меня и укоризненно покачала головой:

— Такой хороший человек, а старика обманываешь.

— Он не хочет сказать правду,— кричал Васо.— Упрямый, как буйвол. Разве он приехал ограбить банк, что не хочет сказать. Я тебя не выдам, кацо. Спроси у каждого человека в Потти,— он тебе скажет, выдавал ли я кого-нибудь или нет. Как ты смеешь так на меня думать!

Прибежала дочь Васо — молодая женщина с копной таких жестких волос, будто она носила черный и спутанный проволочный парик.

— Ты не смеешь так на меня думать! — кричал Васо.— Когда свели коней у Нонашвили, разве я выдал парней из Супсы! Ага, ты не знаешь, кто их выдал! Ты не знаешь! У тебя нету совести, чтобы сознаться перед старым человеком.

Мне надоел этот непонятный скандал.

— Я пойду, наконец, в милицию,— сказал я, ста-

раясь перекричать Васо. Тогда дочь его схватила меня за плечи и зарыдала.

— Нет! — закричала она. — Он наговаривает на себя. Он совсем не знает, кто украл лошадей. И никогда не знал. Он не виноват. Если вы пойдете жаловаться в милицию, я вырву у себя волосы на голове и брошусь в Риони. Скажите ему правду, зачем вы приехали, и он успокоится. И будет конец.

Васо сел на стул и начал желтым платком вытирать мокрую шею. Он дышал со свистом, как астматик. После шеи он начал яростно тереть платком седую потную грудь.

— Вот видите, что вы делаете, — прокричала дочка Васо. — У вас не сердце, а железо.

— Ну хорошо, батано, — примирительно сказала жена Васо. — Я сама скажу, зачем вы приехали в Потти. Я уже догадалась.

— Что вы догадались? Чего вы от меня хотите? — спросил я оторопело.

У меня голова шла кругом.

— Вы фотограф! — радостно воскликнула она. — Вы будете снимать людей на базаре. Только я не вижу у вас картины.

— Какой картины? О чем вы говорите?

— Ха, ха, он не знает! — сказала дочь. Как же вы без нее будете работать?

Она стремительно рванула за пояс и повернула вокруг своей талии пеструю юбку, — в пылу скандала юбка у нее сама по себе сбилась назад.

— Где же ваша картина с отрезанной головой? — повторила она. — Где? Или вы собираетесь снимать

на пляже всяких голых девчонок, которым я когда-нибудь выцарапаю глаза вот этими руками.

Тогда я догадался, о какой картине она кричала. Сколько раз я видел около уличных фотографов облупленные холсты с изображением жгучего черкаса с книжалом. Он сидел, подбоченясь, на гнедом кабардинце. Голова у этого наездника была вырезана начисто. В отверстие от головы каждый снимающийся мог засунуть собственную голову и выйти на фотографии лихим джигитом. Внизу под конем была надпись: «Хаз-Булат удалой быстро едет домой».

— Я не фотограф! — простонал я в отчаянии.

— Так кто ж ты такой? — зашипел Васо, поднял книгу записей и в сердцах швырнул ее на стол. — Зачем ты приехал в Поти? Делать фальшивые деньги?

— Я знаю! — радостно закричала дочь Васо. — Я знаю, отец. Он приехал на базар.

Шум сразу стих. Все смотрели на меня выжидательно и с радостным изумлением.

— Да, если хотите, то я приехал на базар, — сознался я. Другого выхода у меня не было.

— Ай, нехорошо как поступаешь, — сказал Васо усталым и умиротворенным голосом. — Что ж ты молчал, как глухонемой. На базар так на базар. Так и запишем. Живи теперь, сколько хочешь. Ай-ай, как ты меня напугал!

Васо ушел с женой и дочерью успокоенный и просто счастливый. А вечером кто-то, очевидно дочь Васо, поставил мне на стол консервную банку с несколькими толстыми бордовыми розами.

Так началось мое, в дальнейшем совершенно без-

облачное, знакомство с Васо. Он оказался хотя и неслыханно вздорным, но добродушным и ленивым стариком.

Уезжая в Колхиду, в Потю, я, как всегда, представлял себе этот город привлекательнее, чем он был на самом деле. Издали он казался мне затененным от жгучего солнца старыми и разлапистыми ореховыми деревьями и мимозами. Они распространяли, как нарядные женщины, сладкий и вянувший запах духов.

В Потю я понял, как неверны и опасны для правильного восприятия жизни наши общие представления. Ничего подобного тому, чего я ждал, в Потю не было, за исключением мимоз. Но зато в Потю был большой порт, где, бурля малахитовыми водопадами, долго разворачивались грузовые пароходы. Они приходили сюда за марганцевой рудой.

Бетонные массивы портовых причалов, раскалившись на солнце, пахли засохшими крабами.

В город из порта (город лежал за рекой Риони) ходил тесный старый трамвай. Удивительно было, как он не сгорал от солнцепека во время каждого медленного рейса и как пассажиров не хватало солнечный удар.

Потийские (колхидские) болота тянулись от самого города до отдаленных Гурийских гор. К полудню эти болота, казалось, закипали, обволакиваясь паром, и кипели до вечера.

Река Риони — желтая, как кизяк, неслась среди этих болот с непостижимой быстротой. Она все время

пыталась перелиться через плоские берега и затопить город.

Риони весь завивался воронками и водоворотами. Падение в него грозило неизбежной гибелью. Даже переходить Риони по мосту было немного страшно.

Низкие городские дома весь день перегревались на солнце. Веера молодых пальм, пассаженных вдоль улиц, не давали тени. Тяжелые классические розовые розы цвели в палисадниках и засыпали мостовые грудами быстро желтеющих лепестков.

Весь день из домов сочился чад жареного лука и баранины и запах кислого вина.

Тех читателей, которые хотят составить себе более ясное представление о Потти, я мог бы отослать к своей книге «Колхида», если бы сам не понимал, что в книге этой Потти изображен несколько приукрашенным. Таким я увидел этот город, и тут уж я ничего не могу поделать. Я не могу изменить свою способность видеть.

Временами Потти казался мне тропической каторгой, чем-то вроде Новой Каледонии, особенно, когда слепящий блеск моря и неба погружал его в оцепенение.

Часто гнетущая тишина потийских дней прерывалась отдаленным, быстро нараставшим гулом грозы. Стена ливня набегала на город со стороны моря, под неистовый гомон лягушек.

Ливень обрушивался зловещей темнотой и занавесами воды. Пар подымался над крышами.

Но ливень быстро уходил в сторону гор. Нигде в жизни я не видел таких ультрамариново-синих и

прозрачных луж, как те, что оставались на улицах Поти после этих скоропалительных ливней.

Я каждый день ходил в Колхидстрой. Там главный инженер Нодия — человек шумный, но рассудительный — знакомил меня с работами по созданию в Колхиде советских субтропиков.

Изредка Нодия устраивал в духанах маленькие ужины и любил говорить во время этих ужинов витиеватые тосты. «К нам, — говорил он, — приехал академик, «золотое перо». Он напишет о Колхиде свою лебединую песню».

Я не мог опровергать Нодию, — он был так добродушен, что язык не поворачивался возражать ему. К тому же я понимал, что «академик», «золотое перо» и «лебединая песня» — это только обязательные цветы застольного красноречия.

В Поти я познакомился с молодым инженером-грузином. Он вошел в «Колхиду» под именем Габунии.

Если бы мне понадобилось описать его в двух словах, то я бы сказал, что в нем яснее всего были видны черты скептика и поэта. Эти, как бы враждебные друг другу черты, жили совершенно слитно в этом немногословном и мягком человеке.

Больше всего в нем привлекало меня редкое свойство сближать свою огромную начитанность с повседневной окружающей жизнью, со своей работой в Колхиде (Габуния руководил проведением канала в Чаладидах), с разнообразными людьми, событиями в стране и течением своей личной жизни.

Читал ли он Страбона или Монтеня, статьи профессора Краснова о субтропиках или стихи Бараташвили, путешествия Вамберп или «Корабль «Ретвизан» Григоровича, Блока или «Тропическую природу» Уоллеса — во всем он находил мысли, отвечающие его сегодняшним интересам.

Я считаю, что встреча с ним была самым плодотворным событием во время поездки в Колхиду. Она помогла мне узнать Колхиду в той — несколько острой и резкой — новизне, которая была необходима, чтобы представить себе недалекое будущее этой земли.

Габуния возил меня в Чаладиды. Там я впервые увидел джунгли. Понадобилась все же сила воли, чтобы не заболеть «болезнью джунглей». Не я придумал эту болезнь. Она существует в действительности, хотя подвержены ей далеко не все люди, попавшие в джунгли.

Болезнь джунглей — это внезапно завладевающее вами очарование этих непроходимых зарослей (в них почему-то мало птиц) с их дурманящим душным воздухом, с коричневой землей, безмолвием, могучими лианами, стоячими реками, подернутыми дымком зноя, чавканьем диких кабанов и постоянным ощущением, что где-то рядом живут нераскрытые тайны. И даже, несмотря на то, что этих тайн на самом деле нет, вы все же находитесь в постоянном ожидании чего-то нового и неиспытанного.

С Габунией мы иногда по вечерам ездили на трамвае из Поты в порт, в безлюдный ресторан на молу и долго сидели, слушая, как шумели волны, разбиваясь о массивы, и смотрели, как, мигая огнями,

подходили к Потю из открытого моря неизвестные пароходы.

И Габуния однажды сказал, как бы сообщая мне дружескую тайну:

Мы с тобою, муза, быстроноги.
Любим ивы вдоль большой дороги,
Свежий шум дождя, а вдалеке
Белый парус на большой реке.
Этот мир такой большой и строгий,
Что нет места в нем пустой тоске...

— Быстроногая муза,— повторил он.— Хорошо?

— Хорошо,— согласился я.

— Самая быстроногая муза — это муза Пушкина.

Он замолк, наклонился над стаканом вина, и я подумал, что передо мной сидит большой поэт. Он не написал ни строчки стихов, но — все равно — отдаленной, но явной поэзией была полна его жизнь и его работа.

Пароходы входили в порт. Их огни колебались на волнах. Мне всегда казалось, что эти огни особенно ярки оттого, что они прошли через обширные пространства морского воздуха и как бы впитали в себя его чистоту.

— Если человек чувствует пространство,— сказал однажды Габуния,— то он уже счастлив. Это — высокое и благородное чувство. Но, к сожалению, оно не так часто навещает нас. А жаль!

И я в десятый раз начал гадать,— кто же этот мой собеседник со спокойным, а временами грустным и насмешливым лицом. Поэт, инженер или просто привыкший думать обо всем человек.

Начальник Колхидстроя Нодия со свойственной

сму трезвостью считал Габунию чудаком. Он объяснял его чудачества (склонность к философии и поэзии) тем, что Габуния малярник. Эта болотная лихорадка притупляет у человека чувство действительности и вызывает в мыслях некоторый беспорядок.

Но как инженера, Нодия очень ценил Габунию за смелость, упорство и находчивость. Все работники Колхидстроя с восхищением говорили о том мужестве, больше похожем на героизм, с которым Габунин спас строительство от разрушения, когда во время ливней вода хлынула на Колхиду с окрестных гор. Но об этом я не могу рассказывать второй раз, так как уже рассказал в своей книге «Колхида».

Однажды я объезжал с Нодией осушительные работы. Мы ездили по Колхиде в старомодной параконной коляске, так называемом «ландо».

В местечке Нотанеби нас застигли проливные дожди. Мы застряли и три дня провели в дощатом тесном доме у приятеля Нодии, старого учителя-мигрела. С утра до ночи стол ломился от еды и вина, — от лобии, саживи, жареной рыбы локо, шашлыков, сыра «Сулгуни», купатов, глиняных горшочков с тушеным в острых пряностях мясом (петти), от водки «Чача» и терпкого лилового вина «Изабелла». Если это вино случайно попадало на руки, то стягивало пальцы. Должно быть, в нем было много винной кислоты.

Все время, свободное от еды, Нодия или спал или азартно играл с хозяином в нарды.

Мне дали, чтобы я не скучал, растрепанный журнал «Паломник» за 1889 год. Я, лежа на тахте, прочел его почти целиком. Там были статьи о Палестине, пещере в Вифлееме, где родился Христос, о монастырях на старом Афоне и Синайском полуострове и благочестивые биографии разных седобородых патриархов, митрополитов, экзархов и католикосов.

Когда дожди стихли, мы проехали в Батум, где у Нодии были какие-то важные дела. В Батуме мы заночевали. Нодия остановился у своих друзей, мне же было неловко стеснять чужих людей, и я провел ночь в гостинице. Это, пожалуй, была одна из самых страшных ночей в моей жизни.

Лил тяжелый дождь. Свободных комнат в гостинице не было, а идти под проливным дождем в другую гостиницу мне не хотелось. Администратор гостиницы вел себя странно. Он сказал, что у него, правда, есть одна комната, но он не решается поселить меня в ней.

— Почему? — спросил я.

— Да как сказать, — ответил он нерешительно. — Эта комната не совсем плохая, но... неудобная. Это единственная в гостинице комната на мансарде. Под самой крышей. Лестница очень крутая и узкая, деревянная, и ведет только в одну эту комнату.

Швейцар, слушавший наш разговор, что-то быстро и недовольно сказал по-грузински администратору. Тот почмокал губами, покачал головой и повторил, что, пожалуй, мне не стоит ночевать в этой комнате.

— Почему? — снова спросил я.

— Не знаю... Не могу сказать, кацо. Мы не любим пускать в эту комнату постояльцев.

Швейцар снова что-то сказал администратору и нешуганно посмотрел на меня.

— В чем же дело? — спросил я. — Значит, есть для этого какая-нибудь причина?

— Там один человек недавно сошел с ума.

— Не каждый же, кто там живет, сходит с ума.

— Ну, все-таки... — уклончиво ответил администратор.

Тогда вмешался швейцар.

— Он сошел с ума ночью, — сказал он вполголоса — я хорошо помню, было сорок минут четвертого, когда он в первый раз закричал.

— Это было очень страшно, — добавил администратор. — Особенно, когда он закричал второй раз. Он выскочил из комнаты, сорвался с лестницы, упал и сломал себе руку. Он ничего не мог сказать, что с ним случилось.

— Ничего особенного в этом я не вижу, — сказал я. — Не почевать же мне на улице. Покажите мне эту комнату.

Администратор поколебался, взял ключ, и мы поднялись на третий этаж. С площадки третьего этажа шел вверх еще один пролет каменной лестницы. Он заканчивался маленькой глухой площадкой.

С площадки подымалась к чердаку узкая деревянная лестница, похожая на стремянку. Лестница эта упиралась в дверь, выкрашенную охрой.

Администратор долго не мог открыть эту дверь, — ключ застал в замке и не поворачивался.

Наконец он открыл дверь, но, прежде чем войти, нащупал в комнате, не переступая порога, выключатель около притолки и зажег свет.

Я увидел комнату с железной койкой и одним стулом. Больше в комнате ничего не было. Но ничего неприятного в этой комнате я не заметил. Мне только показалось, что единственная, очень сильная электрическая лампочка под потолком слишком выпукло освещает скудную обстановку, — я даже увидел слабую вмятину на подушке от головы. Здесь кто-то, очевидно, недавно почевал.

— Ничего особенного я не вижу, — повторил я, хотя мне уже стало не по себе от сознания, что эта комната будто наглухо отделена от гостиницы темной лестницей.

— Смотрите сами, — ответил администратор. — Звонка к коридорному нет. Ключ плохо работает. Поэтому лучше не закрывайте дверь.

Он ушел, и только тут я заметил, что в комнате нет окон. Она была похожа на морг — только голые желтые стены и белый потолок.

Я лег, но дверь на ключ не запер. Свет я не потасил. Лампа под потолком мешала уснуть, но мне не хотелось вставать, чтобы погасить ее.

По крыше порывами барабанил дождь. Изредка ветер подвывал на чердаке, в разбитом слуховом окне.

В конце концов я все же уснул. Проснулся я внезапно. Несколько секунд я пролежал с закрытыми глазами, потом потянулся к ручным часам на стуле около кровати. Часы показывали сорок минут четвертого.

Почему-то это время испугало меня. С ним было связано что-то неприятное или опасное. Но что? И вдруг я вспомнил рассказ швейцара, что ровно

в это время из этой комнаты закричал человек, когда он сошел с ума.

Я повернулся на спину, и внезапно ледяная дрожь прошла у меня по всему телу от затылка до пяток, — в потолке, над моей головой, был настежь открыт квадратный люк. За ним зияла чердачная темнота.

Люка этого я раньше не заметил. Кто-то открыл его, когда я спал. И открыл изнутри, с чердака.

Я не спускал глаз с люка и говорил себе: «Спокойно. Главное, не волноваться».

Я быстро осмотрел комнату, — в ней никого не было и не могло быть. В ней не мог спрятаться не только человек, но даже сороконожка. Но все-таки... Я осторожно заглянул под кровать. Там тоже было пусто.

Тогда я перевел глаза на черное отверстие люка и заметил, как что-то зашевелилось.

Сердце у меня зазвенело и забилось в висках.

Я увидел, как на краю люка медленно появились мясистые пальцы, — сначала от правой, потом от левой руки. Пальцы вцепились в края люка. Там, на чердаке, был человек.

В свете лампы я видел на пальцах этого человека черные редкие волосы и синие выпуклые ногти.

Пальцы сжались. Очевидно, кто-то лежал, подтягивался на них. В отверстии люка появилась голова человека.

До сих пор я помню его лицо. Ничего более тупого и зловещего я до тех пор не видел в жизни и, должно быть, не увижу никогда.

Обрюзгшее его лицо показалось мне огромным. Оно было чисто выбрито. Человек медленно и спокойно двигал губами, будто жевал.

Наши глаза встретились, и я понял, что это — смерть. Человек смотрел на меня усмехаясь. Он не дрогнул, не сделал ни малейшего движения, чтобы скрыться. Он рассматривал меня, как жертву, примериваясь, вдруг быстро поднялся на руках и опустил одну босую ногу в открытый люк.

Он собирался спрыгнуть, но неосторожно двинулся и заостренный ломик упал на пол, подпрыгнул и покатился к кровати.

Я не помню, как я очутился за дверью. Должно быть, я рванулся со скоростью света. На площадке я закричал и тут же потерял сознание. Должно быть, я закричал так же страшно, как и тот человек, что сошел в этой комнате с ума.

Очнулся я в коридоре третьего этажа. Около меня стоял администратор, швейцар и несколько полусдетых испуганных жильцов. Незнакомый восточный человек в трусах щупал мне пульс. Пахло паша-тырем.

Вскоре появилась милиция. У меня хватило сил отвечать на расспросы и даже войти с милиционерами в комнату.

Люк был открыт. Из него свешивалась бельевая веревка. Ломика на полу уже не было.

Милиционеры бросились кружным ходом на чердак, но никого не нашли. Привели сыскную собаку. Она повела милиционеров через разбитое слуховое окно на крышу, оттуда — на крышу соседнего дома, но дальше не пошла.

— Ваше счастье,— сказал мне старший милиционер,— что вы проснулись. Вы имели дело с хитрым и наглым преступником. А в лучшем случае, с сумасшедшим.

Милиционеры опечатали комнату и ушли. Остаток ночи я просидел в вестибюле гостиницы, где на стенах были написаны масляными красками обломки колонн, увитые розами.

Больше всех взволновался Нодия. Мы тотчас же уехали по железной дороге в Потн. Свой экипаж Нодия отправил обратно из Батума.

Но, как известно, злключения никогда не проходят в одиночку.

На станции Самтреди, где мы пересаживались на поезд в Потн, я заразился сыпным тифом.

В то время на Украине начался голод, и тысячи беглецов оттуда бросились на юг, в Закавказье, в сытные и теплые края. Они загрохотали все станции между Зугдидами и Самтреди. Среди них начался сыпной тиф. Его почему-то называли «синим тифом» и говорили, что он дает большую смертность.

Конечно, я не знал, что заразился в Самтреди. Через несколько дней я уехал из Потн в Москву. До Одессы я плыл на старом знакомце «Пестеле» и только в Ялте догадался, что я заболел. Там меня настигла резкая, как удар пули, головная боль. Как сквозь вязкий туман, я помню качку у Тарханкута, пыльную и показавшуюся мне начисто вымершей Одессу и твердую, как железо, верхнюю полку в вагоне.

Потом я уже ничего не помню. Очнулся я ночью в Боткинской больнице в Москве. Я лежал на койке

под открытым окном. В окно сильно пахло из сада цветущими липами.

Только в больнице от старого профессора Киресва я узнал, что сыпной тиф — это болезнь крови.

Действительно, мне казалось, что кровь у меня сделалась липкой, как столярный клей, и стучается все сильнее, особенно к ночи. Тогда она совсем перестает протискиваться сквозь узкие сосуды.

Каждую ночь я пытался бежать от этого тугого, скрипящего в моем теле движения умирающей крови. Но только один раз мне удалось сползти с койки и добраться до распахнутого настежь окна в коридоре. Сестры вблизи не было.

Я стал на колени перед окном, высунул наружу неправдоподобно худую, прозрачную руку и всей тонкой, как будто птичьей, кожей этой руки ощутил великолесие ночи — ее равномерно шумящий в линах прохладный ветер, долетавший, очевидно, от звезд, и потрясшую меня до дрожи слабую сырость травы. Должно быть, к вечеру на сад пролился короткий дождь.

Я понимал, что этот запах обещает мне жизнь, выздоровление, глубокую свежесть, будто воздушный душ промывает насквозь мое воспаленное тело.

Я дышал судорожно и хрипло, пока не потерял сознания.

В больнице в меня литрами вливали физиологический раствор, но я почти не чувствовал боли. Меня преследовало томительное ощущение вялого, немощно плетущегося времени.

Самое представление о времени резко изменилось,— день растянулся так сильно, что в него можно было вместить несколько дней. И мысли ползли медленно, растягивались, как резина, и постоянно повторялись. И даже не мысли, а, по существу, одна только мысль или, вернее, воспоминание о той ночи, когда я стоял на коленях перед открытым окном.

Лежа пластом на койке и беспрерывно рассматривая свои пальцы, как будто я мог узнать по ним свою судьбу, я перебирал в памяти ту ночь, что пламенела звездами в ветках лип и явственно разделялась в моем сознании на составные части.

Каждая часть этой ночи была удивительно хороша и приносила успокоение,— и невзрачный, крылатый цветок липы, упавший на подокошник, и иск птицы сквозь сон, и далекий монотонный шум, будто вокруг Москвы гудели, качаясь от плавного ветра, еловые сосновые леса.

Почему-то мне хотелось, чтобы этим лесам было триста лет и чтобы смола в сердцевине сосен приобрела маслянистую красную окраску.

В ту ночь откуда-то доходила свежесть воды. Может быть, вблизи был пруд, а, может быть, ветер принес запах выпавшего за горизонтом дождя.

Во всяком случае, все это было целебнее для меня самых сильных лекарств. Я просил профессора Киреева отправить меня в Мещеру (год назад я впервые узнал этот край), перевезти в маленькую лесную сторожку на берегу Черного озера. Он усмехался и обещал.

Я уверял Киреева, что буду лежать там тихо,

пить чистую воду, и есть только бруснику. И от этого и от тишины я непременно выздоровею.

Тишина леса казалась мне совершенно блаженной, именно здесь, в больнице, где непрерывно ревели над крышей самолеты с Ходынского аэродрома.

Рядом со мной лежал муж писательницы Лидии Сейфуллиной. Как сквозь сон, я видел тогда эту некрасивую, маленькую и обаятельно-добрую женщину. Такой она и осталась у меня в памяти до сих пор, хотя она давно умерла.

От частых уколов камфоры у меня в бедре образовалась глубокая флегмона.

От флегмоны меня оперировали прямо на койке в палате. Я был так еще слаб, что перевезти меня в операционную врач не решился.

После операции я лежал почти в беспамятстве с забинтованной ногой. Был жаркий, летний вечер, двери в коридор были открыты. Яркая электрическая лампа нестерпимо сияла над потолком и резала мне глаза. На соседней койке мучительно стонал муж Сейфуллиной.

Потом я услышал рядом с собой чье-то натруженное дыхание и открыл глаза.

На полу около моей койки сидел красноармеец в мятой грязной шинели. У него на голове была облезлая папаха из искусственной мерлушки с пришитым наискось лоскутком выгоревшего на солнце кумача. Папаха была велика на него и напознала па землястые прозрачные уши.

Острое лицо красноармейца туго обтягивала на скулах лимонная нездоровая кожа. Она блестела в свете лампочки, будто смазанная маслом.

В глубоких морщинах на щеках красноармейца шпцурами слежалась черная пыль.

— Друг, как ты сюда попал? — спросил я его, но он не ответил и даже не поднял на меня глаз. Морщась от боли, он разматывал заскорузлый от высохшей крови грязный бинт у себя на ноге. Бинт, когда он отдирал его, трещал, как пергаментная бумага.

Я сообразил, что этот красноармеец вошел в палату из сада, воспользовавшись тем, что сестра куда-то отлучилась (маленький больничный корпус, где я лежал, стоял в саду, и по случаю летнего времени дверь в коридор из сада никогда не закрывалась).

От ноги красноармейца шел тяжелый запах запущенной раны.

— Ты зачем снимаешь перевязку, земляк? — снова спросил я, но красноармеец опять не ответил и только показал мне глазами на стену рядом с собой.

Тогда я увидел на стене квадратный листок бумаги. На нем жирным шрифтом было напечатано:

«Всем бойцам и гражданам, имеющим перевязки, надлежит немедленно снять оные и под угрозой предания ревтрибуналу ни в коем случае не возобновлять их впредь до осмотра ран особой комиссией».

Я понял, что красноармеец разбинтовывает ногу, подчиняясь этому приказу. Тогда я сел на койке и тоже начал сматывать бинты со своего бедра.

Разрез на бедре был очень глубокий и сделали его мне всего два часа назад. Из свежей раны хлынула

кровь. Но прежде чем потерять сознание, я успел дотянуться рукой до столика и позвонить сестре.

Когда я очнулся, около моей койки толпились перепуганные сестры, и молодой хирург, закусив губу и сердясь, наново перевязывал меня. Вся койка была в крови.

Красноармеец исчез. Я рассказал о нем хирургу. Он только усмехнулся:

— Вульгарный случай галлюцинации,— сказал он сестрам.— Не оставляйте его ни на минуту одного.

К концу лета я выздоровел. Из больницы меня отвез домой, на Большую Дмитровку, Роскин. Очевидно, я ничего не весил, так как Роскин, который не мог таскать даже такие пустяковые тяжести, как кошелка с хлебом, легко внес меня на руках на третий этаж и даже не запыхался.

РЕЧКА ВЕРТУШИНКА

У нас в России так много чудесных названий рек, озер, сел и городов, что можно прийти в восхищение.

Одно из самых точных и поэтических названий принадлежит крошечной реке Вертушинке, вьющейся по дну лесистых оврагов в Московской области недалеко от города Рузы.

Вертушинка все время вертится, как егоза, шныряет, журчит, бормочет, звенит и пенится около каждого камня или упавшего ствола березы, тихонько напевает, разговаривает сама с собой, пришепечивает и несет по хрящеватому дну очень прозрачную воду.

Вода эта вытекает из древних и темных, как их возраст, земных пластов, из каких-нибудь юрских глин и девонских песчаншкков.

Непонятным, но милым кажется одно обстоятельство, связанное с Вертушишкой.

Как известно, у нас, в Московской области, никаких гор нет, — одна всхолмленная равнина, а между тем Вертушишка откуда-то вымывает и притаскивает большие обкатанные гранитные камни.

Это, конечно, валуны, оставшиеся от ледникового периода. Летом они лежат в теплой струистой воде и будто жмурятся от дремоты. Они заросли лишаями. Вода, обтекая валуны, папеваает свою немудрую песенку. Трудно поверить, что эти добродушные валуны были свидетелями катастрофы нашей земли, что ледник свирепо проволока их через всю Россию, от самых Скандинавских гор, и бросил здесь, в уютной Вертушишке, мирно доживать бесконечный и спокойный каменный век.

Но вернемся на минуту к названиям.

Названия — это народное поэтическое оформление страны. Они говорят о характере народа, его истории, его склопностях и особенностях быта.

Названия нужно уважать. Меняя их в случае крайней необходимости, следует делать это прежде всего грамотно, со знанием страны и с любовью к ней. В противном случае, названия превращаются в словесный мусор, рассадник дурного вкуса и обличают невежество тех, кто их придумывает.

Нельзя называть города так неблагозвучно, что людям в них неприятно жить.

Примеров можно привести много.

Вместо того чтобы город, где жил украинский писатель Иван Франко, назвать просто и хорошо Франко, неуклюжий переименователь сообразил дать ему непронишимое имя «Ивано-Франковск».

Коктебель в Крыму (кстати, красивое и легкое имя) переименовали в Планерское. Прежде всего, это неграмотно. Если исходить от слова «Планер», то нужно говорить «Планерное», а не «Планерское». И что за окончание — Планерск-о-е? К чему оно относится это прилагательное «Планерское», повисшее без существительного? Это, очевидно, тайна даже для тех, которые так казенно называли это удивительное по своей суровой красоте место.

Сравнительно недавно в Крыму без всякой огласки и без согласования с населением, а значит, и без согласия населения, поспешно переименовали почти все города, села и поселения, за исключением при-морских.

В новых названиях нет и намек на природу или историю Крыма. Новейшая карта Крыма пестрит топорными, безличными,* а то и просто слепыми названиями.

Например, в Крыму, где нет и сроду не было земляники, появилось название: «Земляничное». Что Земляничное? Мыло? Или мороженое? Или варенье?

Исчезли имена, связанные с жизнью в Крыму многих наших великих людей.

Этот случай с переименованиями свидетельствует об отсутствии первичной культуры, пренебрежении к народу, к стране и, конечно, об отсутствии выдумки и воображения.

Мы будем сотни лет ломать себе язык на всяких

Ивано-Франковсках, тогда как Вертушинка всегда будет легко звенеть и литься, и свободно и широко, по-северному на «о», к примеру, будет произноситься Вологда.

Над оврагами Вертушинки стоял просторный бревенчатый дом, принадлежавший некогда писателю Вуколу Лаврову.

После революции там устроили дом отдыха для писателей. Назывался он «Малеевка».

Я поехал в Малеевку на три месяца, чтобы отдохнуть и окрепнуть после болезни.

Впервые я попал в дом отдыха и стал так тесно жить рядом с несколькими писателями. В первое время я стеснялся, дичился, но был счастлив, что у меня после многих лет житейского неустройства есть, хотя бы и временно, теплая и светлая комната с хорошим письменным столом, маленьким каминем, коврами и креслами, в которых можно было читать и дремать.

Моем соседом по столу в столовой оказался жизнерадостный и общительный писатель Сергей Буданцев. Он учил меня играть в бильярд на маленьком столе, затянутом не зеленым, как полагается, а серым солдатским сукном. Оно было во многих местах заштопано. Бильярд стоял на открытой веранде. За ночь его густо засыпало сентябрьским палым листом и сухой хвоей. Прежде чем начинать неизменную «американку», самые отчаянные бильярдисты — драматург Шкварин, Буданцев и Эмиль Миндлиш — тщательно сметали с бильярда осенний мусор.

Если на столе оставалась хотя бы одна хвоинка, рыцарски вежливый и точный Шкваркин наотрез отказывался играть. По его словам, даже ничтожный пух от крыла какой-нибудь сойки или синицы мог сбить шар с верного направления и испортить самый блестящий удар.

Играли на этом многострадальном бильярде в любую погоду, — и в ведро и в дождь. В дождь сукино на бильярде промокало так сильно, что шары, ударяясь друг о друга, выбивали из него фонтаны воды. Игроки ходили мокрые от брызг, но это их не огорчало — азарт преодолевал все.

Вокруг бильярда весь день сидели «болельщики» (тогда впервые появилось это новое слово), и любители поговорить и «потренироваться».

Первое место среди разговорчиков занимал Сергей Буданцев — плотный, шутливый человек с веселым и добрым блеском глаз под хрустально-чистыми окулярами.

Его рассказы не прекращались с утра и до позднего вечера. Память и способность к ассоциациям у него были необыкновенные. Любое слово тотчас вызывало рассказ, анекдот, воспоминание.

Буданцев был человеком шипучим и легким. Вся сила его таланта, как мне казалось, уходила на разговоры. Для того чтобы писать, почти не оставалось времени. Может быть, этим и объясняется то обстоятельство, что Буданцев мало писал и редко печатался.

Самым опасным по отношению к себе, как к писателю, было у Буданцева его свойство охотно и подробно рассказывать замыслы своих еще не написанных вещей и при том рассказывать замечатель-

но: Так у него постепенно накапливался целый цикл таких отработанных и отделанных до последней черточки устных глав и новелл. Сгоряча казалось, что стоит только записать все эти главы — и книга будет готова.

Но на деле оказывалось, что все обстоит совершенно не так: устный рассказ, перенесенный на бумагу, бледнел и умирал. Может быть, потому, что Буданцеву было интереснее его рассказывать, чем писать. Было невозможно перенести на бумагу те богатые интонации и ту мимику, какими в совершенстве владел Буданцев.

С тех пор я понял сдержанность многих писателей в рассказах о том, что они собираются писать, понял, что выбалтывание еще не созданных вещей может быть просто опасным.

Буданцев одним из первых погиб в Чукотских лагерях.

Александр Бек писал в Малеевке книгу о знаменитом доменщике Курако.

Всех поражал придуманный Беком способ работы над книгами. Прежде всего, Бек, найдя свою тему, по его словам, «золотую жилу» — определял главного героя и круг людей, необходимых ему для очередной книги. Это всегда были реальные люди.

Потом Бек простодушно, но беспощадно, выпрашивал этих людей обо всех обстоятельствах их жизни и работы до самых последних мелочей. При этом Бек старался поменьше записывать, чтобы их не смущать.

Таким образом, у Бека накапливалось много записей и стенограмм. После их расшифровки Бек приступал к работе. Он переводил стенограммы на язык художественной прозы и смело компоновал книгу. Он добивался полной достоверности, но вместе с тем, отбирая, разъединяя и соединяя в разных комбинациях полученный материал и давая свою собственную окраску и оценку людям, создавал не документальную, а подлинно художественную прозу.

Так была написана книга о Курако и остальные книги Бека, вплоть до прославившего его на весь мир «Волоколамского шоссе».

Бек предложил устроить при Союзе писателей грандиозное хранилище стенографически записанных бесед со всеми замечательными людьми нашей страны. Таким образом, утверждал Бек, мы создадим великолепный свод по истории СССР и вместе с тем дадим в руки писателей богатейший материал. Каждый сможет пользоваться для работы любимыми стенограммами.

Насколько я знаю, Бек даже начал составлять обширный список наших выдающихся современников, которых следовало опросить. В этот список входили ученые, инженеры, изобретатели, рабочие, артисты, писатели, агрономы, селекционеры, певцы, путешественники, революционеры, архитекторы, бетонщики, поэты, садоводы, балерины, врачи, путейцы, моряки, полководцы, охотники — люди всех профессий и разнообразного, подчас неожиданного жизненного опыта.

К сожалению, этот грандиозный план не удалось осуществить.

Ни у кого из писателей я не встречал такой настойчивости в работе, как у Бека. Временами его труд казался мне непосильным для одного человека.

Бек — лукавый и подчас любивший изображать из себя простака — был необыкновенно мягок, но прямолинейен.

Где бы ни появлялся Бек, он тотчас втягивал окружающих в орбиту своих увлечений, заражал их своей неукротимой, но мягкой энергией, своим неистовым любопытством. Как всегда в таких случаях, жизнь в его присутствии оказывалась интереснее, чем это было до него. Недаром о Беке шутливо говорили, что «Наш бог — Бек».

Каждому, кто близко узнавал Бека, без него уже трудно было обойтись, — без его смелых планов, шумных споров, шуток и умения жить.

До конца я оценил энергию Бека и его преданность литературе гораздо позже, когда мне посчастливилось вместе с Эммануилом Казакевичем, Бекон и несколькими другими писателями участвовать в выпуске одного альманаха.

Альманах вел Казакевич — человек, если можно так выразиться, сверкающий. Безмерно талантливый, обладавший разящим умом, храбростью простого солдата, убийственным юмором, лирической нежностью к друзьям и привязчивостью к хорошим людям.

Он был беспощаден к подонкам всех рангов, к двурушникам, угодникам и пошлякам. В обращении с ними он был резок и даже циничен.

Я пришел к Казакевичу за несколько дней до его

смерти. Он умирал от рака и хорошо знал это. Ничто не могло скрыть от него быстрого приближения конца. Все говорило об этом — и страшные боли, и яркий, совершенно лимонный цвет его тела, и даже то, что дверь в его квартиру стояла открытой, чтобы люди, приходя, не звонили, и не стучали. Малейший звук отзывался в теле Казакевича резкой болью.

По многим признакам он знал, что умирает. Прежде всего, по глазам родных и друзей, по их неестественному деланному спокойствию, по тем невидимым зажатым слезам, которые тяжелее самых отчаянных рыданий.

И все же он прочел мне только что придуманную им ядовитую эпиграмму на одного критика, а когда мы прощались, сжал мою руку, загорелую и здоровую — своей желтой, слабой рукой (на ней сквозь мертвую уже кожу проступали тонкие кости), посмотрел на наши две руки и сказал, усмехался:

— Дружба народов! Европейца и желтого. Годится для плаката.

Мы обнялись. Все кричало во мне о чуде, о необходимости чуда, о том, чтобы вдохнуть в него жизнь, хотя бы свое дыхание, чтобы вернуть к существованию этого пленительного, нужного всем, нужного народу человека.

Через несколько дней у открытой настежь двери его квартиры на Лаврушинском переулке стояла приклоненная к стене крышка гроба.

С чем угодно можно было примириться, но только не с гробовым одиночеством, наступившим для Казакевича.

В тот год быстро подходила осень, рано начались утренники. Окрестные леса за две-три ночи сильно пожелтели.

Больше всех времен года я люблю и жалею осень. Может быть, за то, что ей очень мало отпущено времени для своей шелестящей и облетающей жизни.

В Малеевке я изучал осень неторопливо и пристально, как натуралист. Врачи запретили мне работать два месяца. Но все же я начал писать. Я обманывал себя тем, что пишу не прозу, а сухой отчет о движении осени. Мне ничего не надо было придумывать, а только записывать свои наблюдения.

В Малеевке жил в то время некий старей, всем недовольный поэт. Кислая гримаса не сходила с его лица. Он был язвительен и несправедлив. Все современные поэты, по его словам, писали только «воиющие стишки».

У этого старого поэта был свой собственный язык — какой-то скрюченный и неприятный. Чаще всего он употреблял выдуманное им самим существительное «пыс». Что оно означало, можно было только догадываться. Например, он говорил, вместо: «Ни в каком случае», «Ни в каком пысе!». О красивой женщине он говорил с едкой искоркой в глазах: «Женщина на полный пыс».

Нас осталось в Малеевке доживать до поздней осени всего трое: этот старей поэт, какой-то громоздкий объемистый экономист (поэт почему-то называл его «маленьким птичиком») и я.

Экономист вел с нами разговоры только на литературные темы. Очевидно, из тех соображений, что «с писателями жить — по-писательски выть». Мы

изнемогали от его упорных расспросов о писателях и литературных сенсациях.

Особенно экономиста занимал почему-то Михаил Светлов. Он долго приставал к нам с одним и тем же вопросом: «Из какой жизни пишет Светлов?» Сначала мы пытались всерьез рассказывать ему о поэзии Светлова. Но это его, очевидно, не устраивало, и вечером он снова задавал нам все тот же проклятый вопрос, на который мы ответили ему еще утром: «Из какой жизни пишет Светлов?»

— Из испанской, — ответил я ему с легким раздражением. — Вы же читали его «Гренаду».

— Ну и что с того, что читал? Там у Светлова все напутано. Разве в Испании есть Гренадская волость?

— Конечно, есть.

— Скажите, как интересно! А из какой жизни пишет Эренбург?

— Из дипломатической и средневропейской, — свистящим шепотом ответил старый поэт, и глаза его и очки загорелись дьявольским блеском.

Но экономист не унимался.

— Разве есть такой жанр? — простодушно спросил он. — Разве Эренбург служил в Комиссариате иностранных дел? Кем он там служил, вы не знаете?

Мы этого не знали. Тогда экономист, не теряя времени, тотчас спрашивал, из какой жизни пишет Пастернак.

— Из дачной, — ответил я, изнемогая.

— Почему? — вдруг встревожился экономист. — У него разве есть дача под Москвой? Скажите, пожалуйста. Поэт имеет дачу!

Экономист нам смертельно наскучил. Мы прятались от него, но он наступал нас всюду — в лесу, на полях, в оврагах Вертушинки и — что было совсем невыносимо — у нас в комнатах во время работы.

Я иногда ходил на соседнюю речку Рузу ловить рыбу. Поэт увязывался со мной, но рыбы не ловил, а садился рядом и читал полным голосом свои и чужие стихи.

Я несколько раз намекал ему, что рыба боится шума и уходит подальше от таких громогласных поэтов.

— Ничего! — отвечал поэт. — Пусть привыкает. Это вам неинтересно слушать мои стихи. А для рыбы это редкое развлечение. Жизнь у нее каторжная. Вода в реке ледяная, ил — грязный, жрет она черт знает что, в общем всякую пакость — червей, личинок и горькие водоросли. И темно ей в воде, и зябко, и боязно. Только и жди, что где-нибудь по соседству вдруг лязгнет стальной челюстью щука. Тогда надо драпать всюю!

Разговоры эти мешали мне, но приходилось терпеть: поэт знал наизусть много стихов и эпиграмм. Он сам их сочинял на ходу. Чаще всего он вспоминал шуточные стихи Олейникова:

Маленькая рыбка,
Жареный карась,
Где твоя улыбка,
Что была вчерась?

Вскоре экономист уехал. После этого в Малеевке началась замечательная жизнь. Нам осталось всего

двое и мы сами удивлялись, почему ради двух человек дом еще не закрывают.

Поэт подобрел, стал даже задумчив и начал работать. Весь его яд будто выветрился в осеннем холодноватом воздухе.

Он каждый день писал стихи о закатах. Действительно, в эту осень над Подмосковьем горели прекрасные закаты. Они зажигали окрестные рощи, как зажигают свечи — одну от другой — сумрачным желтым огнем.

В каждом закатном времени было несколько минут, когда краски начинали гаснуть, небо как бы взлетало к зениту и сиреневый сумрак бесшумно заполнял поля и леса. Листья все падали и падали и этому, казалось не будет конца.

ЖИВИТЕ ТАК, КАК НАЧАЛИ

Несмотря на запрет врачей, я написал в Малеевке повесть «Колхида». Писалась она легко и быстро, без напряжения, и это меня даже пугало. Я наслушался писательских разговоров (в общем справедливых) о том, что чем труднее пишется книга, тем она обдуманнее и крепче.

Мне некому было показать свою новую повесть. Но на мое счастье в Малеевку приехал на несколько дней детский писатель Розанов, автор очень славной книги «Приключения Травки».

Я прочел ему несколько глав из «Колхиды», и он так ласково и просто похвалил ее, что я успокоился и даже решился отдать ее в горьковский альманах «Год шестнадцатый».

Горький прочел «Колхиду», как он сам сказал мне потом, «собственноручно» и сделал всего одно замечание. Относилось оно к цветку герани. Я написал, что герань — цветок мещанского обихода, главное украшение обывательских окошек.

Горький написал на полях, что никакие растения и цветы не могут быть мещанскими или пошлыми и что герань — любимый цветок городской бедноты, душных подвалов, где ютятся ремесленники. В народе издавна сложилось убеждение, что герань очищает тяжелый воздух слесарных, сапожных и других мастерских. Поэтому ее и любят.

Вскоре после Малеевки я встретился с Горьким, и он попрекнул меня тем, что я не замечаю красоты этого цветка.

— Может быть, попадете когда-нибудь в Италию, — сказал он. — Там вы повсюду увидите такую пышную герань, что от нее не оторвешь взгляда. А у нас лучшую герань выращивают, по-моему, в Новгороде Великом. Все пригородные слободки этого чудесного города просто горят шарлаховой геранью. Вы были в Новгороде Великом?

— Нет, не был.

— Обязательно поезжайте. Обязательно! Познаете у слободских старушек липового чая. Удивительный вкус, но правда — на любителя.

Он побарабанил пальцами по столу и добавил:

— Местная особенность! Люблю местные особенности. Из них, как бы из густых красок, на полотне рисуется Россия. Вы любите художника Кустодиева?

— Очень.

— Все это явления одного порядка, — сказал

Горький, следя за витиеватым дымком от своей длинной и тошкой папирасы. — Кустодиев, ярмарочные балаганы, выгоны в мураве, щепной духовитый товар, шали на плечах волжских красавиц, мезонины, герань на подоконниках, румяные закаты — именно те, что так славно отражаются в самоварах, мальчишки с расписными пряниками... Чудесный художник! Чудесный! Стихи любите? — спросил он неожиданно.

— Да. Но по-своему.

— Как это «по-своему»?

— Я не могу прочесть больше двух-трех стихотворений в день. Но эти два-три стихотворения я запоминаю надолго, иной раз на всю жизнь.

— Завидное качество, — сказал Горький, снова постучал пальцами по столу и добавил, глядя в сторону: — А я вот уже не могу. Склероз, что ли? А кем вы, милостивый государь, сейчас увлекаетесь? Из современных поэтов.

— Блоком. И Пастернаком.

— Богато живете! — заметил Горький. — Это похвально. Каких только чудес не наслушаешься у поэтов. А я все-таки больше всего люблю Пушкина. «Буря мглою небо кроет». Помните? «Выпьем, добрая подружка бедной юности моей».

Он пропел эти слова своим басом и задумался.

— Вот поезжайте в Новгород Великий. Там этих добрых подружек, как Арина Родионовна, полно. От них вроде и началась русская поэзия.

В ту осень в Малеевке я много читал поэтов — Васильева, Светлова, Заболоцкого, Пастернака. Я не удержался и прочел Горькому по несколько любимых строк из этих поэтов. Он неожиданно растрогался.

— Как, как? — спросил он. — Прочтите еще раз.
Я прочел из Васильева:

Поверивший в слова простые,
В косых ветрах от птичьих крыл
Поводырем по всей России
Ты сказку за руку водил..

— А вот это — Пастернак:

Скорей со сна, чем с крыш, скорей
Забывчивый, чем робкий,
Топтался дождик у дверей,
И нахло вишней пробкой..

— Точно сказано, — заметил Горький. — Да вы кто — прозаик или поэт? Пожалуй, поэт.

Он положил свою большую руку мне на плечо и слегка нажал на него.

— Валяйте! Живите так, как начали. Черт не выдаст, свинья не съест.

СО Д Е Р Ж А Н И Е

Последняя встреча	3
Полевая тишина	10
«Четвертая полоса»	23
Почные поезда	36
Стужа	50
Снежные шапки	60
Проводы учебного корабля	66
Бесплатный табак	74
Птицелов	77
Нелегкое дело	96
Лесовик	101
Медные подковки	104
Девонский известняк	113
«Малый Конотоп»	127
«Не выйдем!»	142
Старинная карта (Некоторое отступление от темы)	149
Обертка от голландского сыра	167
Испытание пустыней	169
История с географией	186
Пушечный завод	197
Пламенная Колхида	215
Речка Вертушинка	236
Живите так, как начали	248

Константин Георгиевич Паустовский

КНИГА СКИТАНИЙ

Редактор Н. С. Хехловская
Художник А. И. Белюкин
Худож. редактор Н. Л. Юсфинна
Техн. редактор Т. Ф. Кланцова

Сд. в наб. 25/V 64 г.
Подп. к печати 10/VIII 64 г.
Ф. бум. 70×108^{1/32}. Ф. п. л. 8,0.
Усл. печ. л. 10,96. Уч.-изд. л. 10,5. Изд. инд. ПХЛ-33,
А06854. Тираж 200 000 экз. 1 завод (1—50 000 экз.)
Цена 42 коп. в переплете.
Доп. к тем. плану 1964 г. № 40.

Издательство «Советская Россия»,
Москва, проезд Сапунова, 13/15.

Книжная фабрика № 1 Росглаволиграфпрома
Государственного комитета Совета Министров РСФСР
по печати, г. Электросталь Московской области,
Школьная, 25. Заказ № 187.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Издательство просит отзывы об этой книге и пожелания присылать по адресу: Москва, Центр, проезд Сапунова 13/15, издательство «Советская Россия»



Вышел в свет
и поступил в продажу
роман Георгия Махоркина.
«...И снова жизнь»
М., «Советская Россия»
230 стр., 15.000 экз., цена 50 коп.

В центре этого произведения — судьба простого советского человека, по стечению обстоятельств попавшего в фашистский плен. Герой романа Егор Загоруйко — стойкий, мужественный боец, беспредельно любящий свою Родину, свой народ. Но его возвращение из фашистского плена было омрачено несправедливым обвинением в предательстве, пособничестве врагу в период оккупации. Процесс восстановления честного имени Загоруйко показан в романе, как часть общей политики нашей партии по восстановлению ленинских норм в общественной жизни.

**Книгу можно приобрести в магазинах
Книготорга и в kiosках Союзпечати.**



**Вышла в свет
и поступила в продажу
книга, выпущенная Издательством
«Советская Россия».**

**Борис Полевой.
«САЯНСКИЕ ЗАПИСИ».**

136 стр., 50.000 экз., цена 16 коп.

В волнующие дни перекрытия Енисея Борис Полевой вместе с другими писателями и поэтами был в качестве корреспондента «Правды» на великой Сибирской реке. По своему обыкновению он вел дневник, в котором нашли место события и люди, занятые созидательным трудом. Никогда и нигде, даже у нас, в стране самой развитой большой гидроэнергетики, человек не поворачивал русло такой могучей реки. Никогда, нигде и никто не решился совершить перекрытие русла на исходе зимы, когда ледяной панцирь особенно толст. Но советские люди, наша отечественная техника совершила это чудо, о котором страстно рассказывает советский писатель.

**Книгу можно приобрести в магазинах
Книготорга и в киосках Союзпечати.**